
Р. КИРЕЕВ



ПОБЕДИТЕЛЬ

Роман

1

Света нет в окнах — второй час ночи, спят. Прекрасно! — ведь ты не из тех мужей, о чьей нравственности пекутся жены. Тебя не высматривают в окно, к твоим шагам не прислушиваются. Не готовят тебе каверзных вопросов. Вам верят, маэстро! Что же, да здравствует доверие! Или ты не заслужил его своими крепкими моральными устоями?

Слякоть, застывшие молнии в сыром асфальте. Кучки ноздреватого снега под уже остриженными деревьями... Весна! Ну умились же скорее! Набери полную грудь молодого воздуха и — умились. Замедли шаг. По сторонам глянь.

Замедляешь, глядишь. Пусто. Мертвый, без огней автобус у кромки тротуара. Неба нет — черный провал над спящими домами. Оттаявшей землей пахнет. Всюду асфальт — откуда этот запах?

Настежь распахнута дверь подъезда. Пружину сняли — по случаю весны? Или ее уже давно нет, а ты, занятой человек, не замечал этого?

Обшарпанная детская коляска под лестницей. Всегда ночует здесь? Когда ты в последний раз возвращался домой так поздно? Голая лампочка в черном патроне. На цементных ступеньках — клочки бумаги. Кто-то письмо разорвал? Любовную записку? А вдруг это не твой дом, не твой подъезд? Вдруг ты никогда не бывал здесь?

Легко и неслышно взбегаешь по лестнице. Жена безмятежно спит — доволен? Или тебя задевает это?

Суешь в замочную скважину холодный ключ, неслышно дверь открываешь. Тихо и темно. Пахнет очищенными апельсинами. Зажигаешь свет в коридоре, осторожно ставишь на пол портфель. Парад обуви под вешалкой. Гордость супруги — замшевые сапожки со шнуровкой, длинные и обмякшие. Коричневые штиблеты отца на массивной микропорке...

Снимаешь пальто. Через голову, лохматя волосы, стягиваешь пуловер. Со вкусом умываешься, быстро и тихо проходишь в кухню. На белом пластике стола кефир, заблаговременно вынутый из холодильника, сырок с изюмом — традиционный твой ужин. Ты угадываешь его, не подымая крахмальной салфетки.

Долой традиционный ужин! Распахиваешь холодильник. Прохладой обдувает лицо, и ты чувствуешь, как загорело оно за эти два дня под крымским солнцем. А ведь ты очень молод еще, Станислав Рябов! Молод, свеж и силен. И чертовски голоден.

Лихо отхватываешь ножом ломоть колбасы. Варварски батон ломаешь. Долго и тщательно вздеивать дисциплину питания — и вот так, разом, попрать все. Быть немножно анархистом. Братец прав: есть в этом своя прелесть.

Горчички бы! Приключение, в которое ты влип, тоже своего рода горчица: придает вкус жизни.

Шаги. Не отца — женские. Мать. Жена проснется разве?

Блеклый стеганный халат. Пояс аккуратно завязан. Желтоватое пористое лицо.

— Приветик! — мычишь набитым ртом.

Как щурятся, страдая от света, ее глаза! Ну что ты, мама! Щурься, не стесняйся, это разве слабость — щуриться с темноты? Я знаю, ты не прощаешь слабостей — ни себе, ни людям, но ведь это не слабость, это физиология.

Съездил как? У тебя полон рот, и вместо ответа тычешь пальцем в загоревшее лицо. Мама не понимает. Мама терпеть не может уклончивости. Пытливо глядит на тебя многоопытным директорским взглядом. Ты не торопишься проглотить кусок — пусть глядит! Пусть читает в твоих глазах. Что-то необычное проскальзывает там, а? Вы не привыкли видеть сына таким? Даже в пору туманной юности не возвращался домой в таком порхающем настроении. Он был дисциплинирован и мудр — не по годам развитый мальчик. Вундеркинд.

— Загорел, — объясняешь ты, проглотив.

Тонкие губы непроницаемо сжаты. Крупная, покрытая белесыми волосами родинка на подбородке.

— Ты нетрезв? — Я не узнаю тебя, Слава.

С наслаждением отхлебываешь глоток воды — сырой.

— Дыгнуть?

Как глупа и развязна твоя улыбка! Мама страдает: Станислав Рябов не имеет права выглядеть глупым.

— У нас нет горчицы?

Напряженная работа в выцветших глазах. Что-то скрываешь от меня, сын... Ну что же, в конце концов, ты взрослый человек и это не мое дело — где был и что там приключилось у тебя. Ездил на двухдневную экскурсию в Крым — с меня достаточно. Имеет же право развлечься мой сын — ведь он так работает! Кто добился столького в его годы?

Ты права, мама, — немногие. Глубокий исследователь, новатор, тонкий и добросовестный аналитик... Какие там еще были эпитеты? Экономист, с блеском защитивший в двадцать семь лет кандидатскую, — весьма не частый случай, товарищи!

— Какая там погода?

Вот все, что интересует меня.

— Роскошная. — Ты посмеиваешься. Такая изумительная погода, что ты даже искупался. Плюхнулся, как мешок с песком, в воду, чтобы спасти свалившегося с причала пацана. Пацан с таким же успехом мог спасти тебя. — В Гурзуфе черешня цветет, — развязно прибавляешь ты.

Мама сосредоточенно поправляет пояс. Опрятность — она передала тебе это качество, она передала тебе все свои положительные качества, несправедливо обделив ими старшего сына. Как и она, ты болезненно чистоплотен, но посмотри, на кого ты похож сейчас. Мятая рубашка, распахнутый ворот.

Молча снимаешь с традиционного ужина салфетку. Крапинки влаги на кефирной бутылке. Только из холодильника? Но ведь ты собирался быть в одиннадцать. Вынула, дабы не был ледяным, потом снова убрала и опять вынула? Вундеркинд терпеть не может теплого кефира.

С готовностью глядишь в выцветшие глаза. Пожалуйста, мама, не стесняйся — любые вопросы. Любые! Ну, например, какое впечатление произвел Никитский ботанический? Или где ночевали — в Алуште, Ялте?

Нету вопросов. Разве что этот — будешь ли кефир? — заданный молча, одними глазами.

— Я сыт и счастлив.

Ставит бутылку в холодильник. Морщины на желтой шее. Белые, крашенные, завитые волосы.

— У тебя лекции завтра?

Поблагодари — улыбкой, вот так.

— Я помню, мама.

Неужто ты похож на человека, который способен забыть о лекциях? Даже сегодня. Братец порезвился бы сейчас: «Ты знаешь, что такое твоя память? Старая, занудливая, вонючая скряга. Она убьет тебя. Удушит». Недурственный дифирамб твоей памяти. Что же, в нем есть истина: столько времени прошло, а ты помнишь его слово в слово.

Шарканье тапочек. Папа. Перламутровая пижама, грива седеющих волос. Дряхлеющий лев. Дряхлеющий, но все еще грозный.

— Путешественник прибыл? Ну-ну, приветствуем путешественника. Как там море? Шумит?

— Нельзя ли потише, Макс? — Слаб и бесцветен голос матери на фоне игривого баритона профессионального диктора.

— Почему тише? Сами говорите, а мне — тише.

Сейчас губы надует. Большой, добрый, седеющий ребенок. Баловень дома.

— Потому что люди спят.

Видишь, Станислав, как забочусь я о твоей жене. А ты подозреваешь меня в недоброжелательности.

— Крым! — У папы вдохновение. — Мисхор, Гурзуф...

Стихи будет читать. Будь снисходителен, Рябов!

— Прощай, свободная стихия!..

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые...

Будь снисходителен: рецидив артистической молодости. Додикторский период. Сводку погоды не продекламируешь с выражением.

— Пойдем, Макс, поздно. У тебя передача утром.

— Передача! — усмехается папа: экие пустяки! Но Макс грустно. Вздыхает Макс. — Помнишь Ласточкино гнездо? А мускат? Белый мускат! Из лучших крымских подвалов. Бокал запотеваает.

Как кефирная бутылка.

— Станиславу отдохнуть надо. У него лекции завтра.

Не желает мама вспоминать бокал, который запотеваает.

— А я хочу поговорить с сыном. Как мужчина с мужчиной.

Непрененно, папа! Сегодня это просто необходимо.

Глава семьи преисполнена терпения.

— Спокойной ночи.

Мальчики ближе к отцу; быть может, ему откроет ребенок, почему он такой странный сегодня? Возбужден, не в меру ироничен, кефир не пьет.

Ну-с, папа? Будем говорить как мужчина с мужчиной?

— Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красоты.

Вот так, сын мой. Оцени модуляцию и тембр голоса. А теперь расуди по совести, объективно ли было жюри. То самое жюри, которое двенадцать лет назад опустило шлагбаум на моем пути к телезрителям. Ничего, я не обиделся — уж я-то не спасую перед телевизионной камерой, а вот пусть они поработают с микрофоном!

— Какие стихи! А ты знаешь, где написаны они? В Гурзуфе. Поэзия — один из китов, на которых держится мир, сын мой. — Глубоко и протяжно втягивает трепещущими ноздрями воздух. — Ты унаследовал мою душу, Станислав.

Ты так думаешь, папа? Лучше бы я унаследовал твою шевелюру.

— Три кита, на которых держится мир. Поэзия, любовь, работа. Если, разумеется, работа приносит удовлетворение. Ты понимаешь меня. Три божества, которым ваш отец всегда поклонялся. Ну, еще, быть может, рыбная ловля.— Ослепительная улыбка: ничто человеческое нам не чуждо.

— Пятое забыл.

Киваешь на газовую плиту, у которой диктор областного радио подолгу простаивает в приступах кулинарного зуда. Хобби большого и милого ребенка.

Смеется. Треплет мальчика по голове. Я знаю, что ты склонен к иронии, сын мой. Уходит, шаркая тапочками.

Выключаешь свет. Медленно расстегиваешь рубашку. В черных окнах дома напротив змеится золотистый отблеск. Не тот ли автобус, что стоял без огней у кромки тротуара?

Вспыхнув вдруг, прожектор выхватывает из темноты навесы, кабинки для переодевания, скелеты грибков — скоро их обтянут парусиной. Ее освещает — на долю секунды, ярко. Рябое приталенное пальто. Взбитый платок на шее — в крупный горошек. Прожектор уходит, и она и все предметы косо и быстро перемещаются — предметы и она в одну сторону, а резкие тени от них в противоположную.

«Женщины не любят таких, как ты. Ты умен, щедр, обязателен, но все твои добродетели навешают скуку». «Вот как?» Разудало улыбаешься в бородастое лицо братца.

«Где это ты загореть успел?» — «В Крыму. Двухдневная экскурсия». — «С Ларисой ездил?» — «Один. Вернее, без супруги». — «Но не один?» — «Как сказать...» Ты слишком хорошо воспитан, чтобы щеголять своими победами. Даже перед братцем.

Послезавтра увидишь его. Тридцать лет. Юбилей. Не послезавтра — завтра, поскольку за полночь уже.

«К тридцати годам я стану известным художником. Я обещаю тебе».

На завтрашнем торжестве ни словом не обмолвишься об этой клятве, хотя старая скряга — память — вот уже шесть лет бережно хранит ее в своей кубышке. А братец не преминул бы уличить тебя.

Между прочим, ты стоишь сейчас на его исконном месте. Только здесь ему и дозволялось курить. У окна.

«Почему не ложишься? Второй час». — «А ты?» — «Занимаюсь. Зачет завтра». «Я тоже занимаюсь. — В темноте не различить лица. — У меня каждый день зачет». Великим людям свойственна афористичность. «Форточку открыть?» «Нет». Так-то вот! Будем дышать дымом, но форточку не откроем. Это вы, черви, все рассчитываете, учитываете, зубрите лекции по ночам, сутками роетесь в книжной трухе, не курите и не пьете, лелея свое драгоценное здоровье. «Хочется» — вот наш девиз. И потому мы ослепительно сгораем, пока вы тлеете.

«У меня романтическая профессия. Экономист. Коэффициенты, выручка, прибыль». Галопом мчалась ваша группа по Никитскому ботаническому, но вы не торопились догнать ее. С тобой ей было интереснее. «Вы обратили внимание, Зина, как добросовестно конспектируют любители флоры каждое слово экскурсовода? Вернувшись домой, они вызубрят конспект и будут ошеломлять знакомых своей ботанической эрудицией. «Вообразите только, Эльвира Ивановна, среднесуточный рост бамбука — три миллиметра». «Ах,— скажет Эльвира Ивановна,— этого не может быть. Три сантиметра!» «Миллиметра, Эльвира Ивановна, миллиметра». «Я понимаю. Вы Петушкова знаете? Ему гланды вырезали. Так они опять выросли. За одни сутки, как бамбук...» Смеющиеся глаза..,

И все-таки не пора ли спать, Рябов? У тебя завтра лекции. Аудитория встанет, когда ты войдешь — элегантно и молодой, в прекрасно шитом, спортивного покроя костюме. Искусная прическа стыдливо маскирует легкую, как молодой месяц, лысину. Среди студентов немало твоих ровесников. Тебе лестно сознавать это, не правда ли?

Гмыкаешь. Баста, лирическое отступление закончено. Спать!

2

— По графику — в декабре, но все еще может измениться... Слава? Ему в любое время дадут.

..ВОСЬМОЕ АПРЕЛЯ СТАЛО ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ СВАРЩИКОВ ГРИГОРИЯ АРТАМОНОВА. В ДЕЛОВОМ ПОРТФЕЛЕ БРИГАДЫ...

— В Польшу собираемся. Двенадцать дней с дорогой... Алё! Двенадцать... Что? Не слышу.

Нашла супруга время для телефонных разговоров! Святые минуты: Максим Рябов в эфире. Разве позволит мама выключить радио? Единственная слабость сурового директора кондитерской фабрики. Даже в служебном кабинете — приемник. Никаких излишеств, стиль строгий и деловой, и на тебе — диссонанс. Максим Рябов и не подозревает об этом тайном внимании спутницы жизни к тому, что он скромно именуется творческой деятельностью.

...ПОДГОТОВЛЕНО СТО ДВА ТРАКТОРА, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ТРАКТОРОВ...

«А если я заявлюсь к тебе в гости? — У самого же рот до ушей. — В ближайшую субботу, например?» А если... Например... Фу, Рябов! Разве так разговаривают с дамами настоящие мужчины! Разве так держал бы себя на твоём месте старший брат! «Значит, договорились, — лихо подводишь, подстегнутый братом, итоговую черту. — В субботу, первым автобусом. Где прикажете искать вас?» Внимательный взгляд на тебя и — негромко, уже с опущенными глазами: «Первый автобус приходит к нам в половине десятого». Так ведь это согласие! Ведь это приглашение! Обещание ждать. «Учтите, — совсем по-дикторски подымаешь ты назидательный палец. — Я обязателен и пунктуален, как немец. В субботу в половине десятого торжественно ступаю на обетованную землю деревни Жаброво». Незримое присутствие брата вдохновляет тебя. «За неделю может многое измениться». Скепсис — с таких-то лет! «Понимаю, — резвишься ты. — Конгресс экономистов на Майорке. Скарлатина, которой я из-за происков судьбы до сих пор не болел. Арест за хищение государственного имущества в виде папок и карандашей. О любом из этих инцидентов я извещу дополнительно. Если же никакой трагической информации от меня не поступит до субботы, то ровно в половине десятого встречаемся у столба, который символизирует в Жаброве автостанцию».

Братец остался бы доволен тобой. А уж девочка наверняка пришла бы ему по вкусу — тянет, тянет умаянную жизнью художника к душам чистым и наивным.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница... Пять дней до субботы. Пять дней...

— Проснулся? — Со светлой радостью, будто существовала гипотеза, что ты почил навеки. — Как съездил? — Блестит и шелковисто переливается розовая комбинация. В тесную юбку заправлена. — Я в полпервого легла. Все ждала тебя. — Жалуется — не на тебя, на обстоятельства, которые тебя задержали.

Сломался самолет, нелетная погода, потерялась женщина из вашей

группы... Что еще могло стрястись за эти два дня? Землетрясение? Но тебе нет нужды блистать фантазией — объяснений не требуют. Вне подозрений твоя нравственность.

— Задержались, — роняешь ты, и этого достаточно.

— Представляю, как там сейчас! — Со вздохом. Грустная, хорошая зависть, которую, кажется, зовут белой. Розовые бретельки глубоко врезались в тело. — Тебе какой-то Минаев звонил. — Малиновый джемпер. — Говорит, ты искал его.

Копна черных жестких волос, так не соответствующих ее нежному голосу. Любопытно, как протиснет она голову в джемпер.

— Нужный человек. — А разве нет? Над кем иронизируешь? — Может кооператив сделать.

Искупаешь вину? В два ночи как-никак явился. Но за отдельную квартиру жена все простит.

Замерла перед зеркалом с поднятыми руками. Так твое сообщение подействовало? Или просто копна застряла?

— Кооператив? — И без того тихий голос приглушен джемпером. — А он кто?

Розовые кружева на белом теле. Отводишь взгляд.

— Служащий.

У вас такая жена, профессор! Мужчины пялят глаза на улице.

— Что-то определенное? — С осторожностью. С большой осторожностью, ибо преждевременной радостью можно вспугнуть удачу.

— Последний раз я видел его два года назад. На выпускной фотографии.

Лицо в зеркале. Бледные, голые без помады губы... Темные, голые без краски глаза... Утренняя женщина! В идеале каждый из супругов должен иметь отдельную спальню.

«Доброе утро. Почему встали так рано?» Хилый кипарис, влажно блестит мощный двор общежития, где разместили вашу экскурсионную группу. Далеко внизу — море. «Выспалась. Как вы себя чувствуете?» Как медработника ее интересует, нет ли последствий у героической акции по спасению мальчугана. «Прекрасно. Вы всегда так мало спите?» А вчера на ты были! «В деревне рано встают». — «Так вы относите себя к деревенским жителям?» — «Привыкла за полтора года». Яркое синее небо, яркие зеленые деревья. А братец считает, ты дальтоник!

...КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ДОЖДИ, ВЕТЕР СЛАБЫЙ, ДО УМЕРЕННОГО.

Финиш областных известий. Без минуты восемь. В восемь — трансляция из Москвы. Максим Рябов выходит из эфира. Пора! Пол холоден, но ты не торопишься совать ноги в тапочки.

Жареной колбасой пахнет — старшее поколение отзавтракало.

— Доброе утро, мама.

Светлое пальто с рыжей лисой. На маме оно сидит строго, как служебная форма.

— Не выспался?

— В деревне рано встают.

Внимательно смотрит: вчерашнее продолжается? что с мальчиком? Ничего. С мальчиком ничего.

Когда настигла тебя эта мысль — забежать перед конторой к тетке Тамаре? Сейчас, или ты проснулся с нею?

Возвращаешься в комнату, гантели берешь. Тяжелы? Разнежился за два дня под крымским солнцем.

Мелодичное позвякивание за твоей спиной — супруга извлекает кулон из шкатулки. Нефертити в профиль — армянская чеканка. У Марго и то нет такой, но Марго старая и больная и не до безделушек ей. Впрочем, коллекционирует же она морские камушки!

На малиновый джемпер падает серебряная цепочка, заостряет груди своей тяжестью.

Шире разводи руки! Шире и медленней, чтобы в мышцах загудело.

Белое солнце бьет в окно. Косо пронзая комнату, освещает полку с книгами — ты смастерил ее еще в школе. Однотонные серые корешки — таков стандарт экономических книг. Или братец прав: ты и впрямь не различаешь цветов? Но синее небо, но зеленые кипарисы, но радужно-влажная чешуя вымощенного дворика?

— В субботу я сказала Маркину. — Таким же нежным, с придыханием, голосом? Было время, когда ты обмирал, слыша его. — В следующий раз, говорю, хоть сто приказов пишите. Почему одни должны дежурить три выходных подряд, а другие ни разу?

И правда, почему? Замедляешь движения.

— Ну, он, конечно: понимаю, Лариса Павловна, понимаю, но и вы войдите в мое положение. Эпидемия! Три врача болеют, а оставить отделение на девочку не могу. — «Была утром девочка, просила путевку...» — Ночью должен быть опытный терапевт.

Ты дуб, вундеркинд! Дуб с необратимо атрофированным самолюбием. Даже надуться не сообразил, когда она мило объявила, что не может лететь с тобою. Сама же затеяла все, гоняла, как мальчика, за путевками... Твое лицо, продолговатое, как огурец, неописуемо тупеет в такие минуты.

«Езжай один, если хочешь. — Мольба и страдание в темных, уже и впрямь завлажневших глазах. — Отдохнешь. Тебе надо отдохнуть. А мою сдай»...

«Да вы что, товарищ! Обратно не принимаем. Тем более в день отъезда. Зайдите на всякий случай часа в два. Тут была утром девочка, просила путевку — куда угодно, ей все равно».

— ...Суббота за вами, Лариса Павловна. Любая, на ваш выбор. Спасибо, говорю. — Быстрая смешливость в голосе, и ты видишь вместе с супругой всю комичность этой запоздалой любезности.

Тебе, однако, не до смеха. Из помалкивающего обвиняемого (где шатался до двух ночи?) в молчаливого обвинителя превратился ты (захотела б — отпросилась). А почему бы и нет? Как-никак на двухдневное одиночество обрекла подруга жизни.

— Я сварю яйца? — Закончив туалет, стоит — неотразимая и праздничная, руки опущены. — Или пожарить?

Не дай маху, капитан! Помни: ты обижен.

— Я сам сварю.

Именно так — буркнуть, не удостоив взглядом. Несмотря на утренний дефицит времени, терпеливо ждет секунду, другую и лишь потом неслышно выходит в кухню.

Стоп, ты пропустил упражнение. Приседание. Что-то рассеян ты нынче. Мыслишь? Так будь последователен, позвони в клинику. *«Будьте любезны, скажите, кто дежурил в ночь с субботы на воскресенье? Кто спрашивает? Это из кинохроники. Мы готовим фильм о людях в белых халатах. Моя фамилия Феллини».*

Недопустимо быть рассеянным в понедельник. Понедельник — день лекций. Тема сегодняшней: организация ремонтного хозяйства. *«Кто дежурил в ночь с субботы на воскресенье?»* Суетишься, Рябов! Мало тебе изображать оскорбленного мужа, тебе хочется вправду быть им. Зачем? Чтобы с чистой совестью отправишься через пять дней в неведомое тебе Жаброво?

Форсируй: девятый час, а еще собираешься забежать к тетке Тамаре. Раз в жизни можно сократить комплекс. Восстанови дыхание. Вот так.

«Жаброво? Поставьте мне неуд по географии — впервые слышу.

«Как далеко расположено селение со столь поэтичным названием?» — «Три часа на автобусе». — «В Крым, полагаю, мы доберемся быстрее». Тогда еще, в автобусе, что вез вас в аэропорт, ты был ей безразличен, как дерево, — лысеющий развязный франт с улыбкой до ушей. В следующую секунду автобус круто затормозил, но ты инстинктивно выставил руку и успел придержать ее, сам же ткнулся лицом в спинку переднего сиденья. Сколько мужской грации было в этом движении! Лишь на другой день ты перешеголял сам себя, плюхнувшись с причала в воду — в носках и белых трусиках — спасать мальчугана, который плавал, как дельфин...

До пояса растертый после ледяной воды жестким полотенцем, входишь в кухню. Два замечательных яйца ждут тебя на влажной тарелке. Заботливая супруга... «Я не желаю быть только женой, только матерью. Не желаю, понимаешь? Прежде всего я женщина». Доверительно и взволнованно, а глаза надеются, глаза верят, что ты поймешь ее — в отличие от твоего бестактного папы, который, оказывается, спит и видит, когда вы плодиться начнете. «Грубо, доктор, грубо». «А он не грубо сует нос не в свои дела? У него есть внучка — вот пусть и одаривает ее своей любовью...»

— В мешочек.

— Неужели? — удивляешься ты.

А собственно, что такого сказал отец? Просто выразил предположение в обычной своей поэтически-метафорической манере, что скоро, должно быть, появится младая поросль. Или не скоро? «Как ты себя чувствуешь, детка?»

Тут, конечно, папа хватил лишку. Даже ты не дерзаешь задавать подобные вопросы, хотя сколько раз в тебе начинала биться преждевременная надежда. Разумеется, преждевременная, ибо, пока нет квартиры, о каком ребенке может идти речь! Здесь твоя осмотрительная супруга права, и, кажется, сегодня ты видишь эту ее правоту как никогда ясно...

Наливает чай. Торопливые обжигающие глотки. Подымается.

— Сегодня — нормально.

Нормально — в смысле не задержусь. Ни собрания, ни конференции, ни разборов историй болезни? Что так? Сосредоточенно намазываешь маслом хлеб. «В современной жизни ревность нелепа, как керосиновая лампа». Недурственный афоризм придумала супруга. Ты даже не удержался и процитировал его братцу, присовокупив: «Как сказала одна наша общая знакомая». «Ну и дура!» Нокаут, чистый нокаут! Братец умеет это. С ним ты делаешься ненаходчив и скучен, как доцент Архипенко.

Подвигаешь яйцо, мелко и легко обстукиваешь ложкой. Братец — разрушитель. Выродок в семье, девиз которой — созидание. Именно это слово начертано золотыми буквами на семейном знамени, которое вот уже три десятилетия держит в неслабеющих руках директор кондитерской фабрики. С сарая начала, где варили леденцы и лепили из отрубей пряники, а ныне — современное производство, продукцию которого знает даже Москва.

Разрушитель... Но разве не были ими художники во все времена? В отличие от вас, созидателей. Ах, филистеры! Ах, бюргеры! Работа, дом, режим, который неукоснительно соблюдается. Красивая жена. Дети... «Дети-то будут у вас? — Братца, оказывается, тоже волнует это. — Будут! Пухленький мальчик с невинными материнскими глазами». Но урод в великом мужском братстве, ты предпочел бы иметь дочку.

Чай горяч и душист. Восхитительный чай! — виртуозное искусство диктора областного радио. В повара бы ему, в кулинары!.. Спешить? Боишься, не успеешь подать дубленку жене? У тебя закаленная воля,

кандидат, но ты не в силах усидеть на месте, когда в коридоре одевается женщина! Пижон! Не в силах, даже если эта женщина — собственная жена.

Выходишь, дожевывая. Замшевые сапожки со шнуровкой — вторых таких нет в городе. Не подаешь виду, но тебе лестно видеть это шнурованное чудо на ногах лучшей женщины терапевтического отделения. Согнувшись, натягивает второй сапог... Снимай с вешалки дубленку, трижды пижон!

«Лариса... Меня Ларисой зовут». Даже у тебя, уже столько раз слышавшего ее грудной, с придыханием, голос, что-то быстро пробежало внутри, а брат — эмоциональный, заводной брат — хоть бы ослабил критический прищур! Какой там восторг, что ты заранее тайно и самонадеянно смаковал, когда торжественно вел ее знакомить с ним. Ничуть не бывало! Сдержанно-оценивающее внимание, вежливость, даже сухость. Полно, да братец ли это? Кажется, ты испытал некоторое разочарование, но куда сильнее была радость вдруг обретенной уверенности. Вообще-то ты был поразительно везуч в то время — у тебя клеилось все, за что ты ни брался, и все же ты не сразу поверил, что эта роскошная женщина может быть к тебе благосклонна. Просто благосклонна, не более. С веселым отчаяньем добивался ее царского расположения. Оказалось, безуспешно. У тебя голова шла кругом: где бы вы ни появлялись, она была в центре мужского внимания; а ты умышленно держался чуть в стороне от смиренной скромностью триумфатора. Уже тогда ты подумывал о женитьбе, однако язык не поворачивался заговорить об этом. Братец — да-да, братец! — поостудив тебя своим необъяснимо прохладным отношением к ней, подвиг тебя на этот шаг. Ты понял вдруг, что она не так уж недосыгаема для тебя. Вот ахнул бы он, узнав, что имеет честь быть твоим сватом!

— Сегодня нельзя опаздывать — обход профессора.

Проворно завязывает вокруг шеи атласный платок. Спинай поворачивается, и ты тотчас подставляешь дубленку под ее слегка приподнятые руки. Секунда — и снова лицом к тебе. Пальцы бегут по пуговицам; в правдивом взгляде — укоризненный вопрос:

— Все еще сердисься?

Запах духов порхает по коридору.

— Обход профессора, — напоминаешь ты, но она не двигается. Пусть обход! Пусть опоздаю! Неужели не понимаешь, что так я не могу уйти?

«Первый автобус приходит к нам в половине десятого».

— Ты же знаешь, как я хотела поехать. Ты не веришь мне?

«*Будьте добры, какой врач дежурил в ночь с субботы на воскресенье?*»

— Верю. Но ты рискуешь прогневить профессора.

Еще некоторое время всматривается в тебя, потом неуверенно опускает дрогнувшие ресницы. Берет не глядя замшевые перчатки.

— Счастливо, — чуть слышно признают ее губы, и вот уже перестук каблучков — сперва медленный, потом все быстрее — раздается на лестнице.

Переиграл, Рябов!

«Ты уверен, чтолюбишь меня?» И та же пытливость в устремленных на тебя сострадающих глазах. «А ты?» — следовало бы спросить, но у тебя не хватило порогу. Какую-то окоlesiцу понес — насчет помощи, которую ты торжественно обязуешься оказывать ей в домашнем хозяйстве. Гладить собственные брюки и ее носовые платки, ходить за арбузами и чуть ли не мыть окна по весне. Без единой улыбки слушала она этот претендующий на иронию вздор. А может, и не слушала — просто смотрела, что-то решая про себя.

Запах духов шархнулся, словно спохватившись, что остался без хозяйки, прощально окатил с ног до головы и улетел следом. Возвращаешься в кухню. Переиграл, Рябов! Стоя отхлебываешь чай. А что, собственно, тревожит тебя? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница... Догадывается ли тетка Тамара, что ты чуть свет явишься к ней с визитом? На чудо надеешься? Вдруг не уехала девочка в поэтическое свое Жаброво? Но коли так жаждешь увидеть ее, почему не поднялся в половине шестого и не подкараулил ее на автостанции?

Кипятку подливаешь в остывший чай. Кто вяжет ей ее голубые, с белыми полосками варежки? Хозяйка в Жаброве? «Тетя Матрена как к дочери ко мне. А мне неловко — я не могу к ней как к матери. Я ни к кому не могу как к матери».

«Тетя Матрена, это — Станислав». Исчерпывающее объяснение! От тетки Матрены сладко пахнет навозом, руки грубы и мозолисты, а нравственность — на безоблачной деревенской высоте. «Этостанислав» стоит перед ней в своем бесстыжем коротком пальто, в мохеровой шапочке с немислимым козырьком («Ах, бабоньки, а фуражечка-то, фуражечка у него — срам!») — стоит, живое ухмыляющееся воплощение городского беспутства...

Ополаскиваешь стаканы. Час в твоём распоряжении. Неужто все-ррез надеешься застать ее?

Не знаешь, какую рубашку надеть? Даже твоя супруга, законодательница мод терапевтического отделения, не простаивает столько перед распахнутым шкафом. «Одеться ты умеешь, тут я завидую тебе. — Хоть этому завидует братец. — Не твоим материальным возможностям, а твоему вкусу. Я не умею так. Куплю, повосхищаюсь, а на другой день вижу, что это ужасно пошло. Не могу понять, почему так. Ты профан в живописи, вообще в искусстве, я же замечаю любую фальшь на полотне, а одеваюсь как попугай». Велик, велик Андрей Рябов, а потому — что стоит ему покаяться в маленьких слабостях!

Так на какой рубашке, маэстро, остановили вы свой выбор? Мягкой, мышиного цвета и, разумеется, без галстука — на студенческий манер? Так ты еще не появлялся в аудитории. И не надо, рано. Одевай что всегда, все равно ведь не застанешь ее у тетки Тамары. Единственный в Жаброве медицинский работник обязана с утра быть на боевом посту. Куда же спешишь в таком случае? Осведомиться у тети, какое впечатление произвела на нее ее поздняя гостья? А почему бы нет? Да и, в конце концов, надо поблагодарить за гостеприимство.

Замок щелкнул, но ты привычно толкаешь дверь — заперто ли? При девочке из Жаброва не стал бы так.

Клочки бумаги на цементных ступеньках. «Дебет», «итого» — разорванная ведомость, которую принял ночью за растерзанное в страсти любовное послание. Красноречивая деталь!

Сыро, ветер. Велосипедист в резиновых сапогах. Утром, должно быть, шел дождь. «Не ждала? Решил проводить». Мокрый и нахохлившийся, как воробей. Смешной. Больше не жалеешь об этом несостоявшемся свидании?

Сгорбленная, семенящая навстречу фигурка. Бурки в галошах. Здравствуйте, тетя Поля, какими судьбами? В гости? Но вы перепутали — воскресенье было вчера. Свернуть тебе некуда, и ты катастрофически движешься навстречу неудержимой старческой доброте.

— Доброе утро. — Останавливаешься.

Тетя Поля замирает от радостной неожиданности.

— Господи, а я думаю, Стасик это или не Стасик. Я тебя еще не видела в этом пальто.

— Стасик, — подтверждаешь ты. Тебя она щадит, а вот братца непременно расцеловала бы дряблыми губами.

— Рано-то как! Ты же к десяти всегда.

Все знает о тебе старая Поля! «Маленький был — пухленький, кудрявенький — встанешь и стоишь, смотришь».

— У Андрюшки-то день рождения завтра. Тридцать.

Добрая нянечка — все помнит. Арина Родионовна.

— Тридцать,— гмыкаешь ты.— Тридцать ноль-ноль.

— Что? — Всполошилась, тревога в поднятых глазах: не случилось ли чего с ее любимцем, с первенцем ее Андрюшей?

Успокаиваешь:

— Жив и здоров.

Потрескавшаяся дерматиновая сумка. Ты помнишь ее столько же, сколько помнишь себя. Морщинистые руки — коричневые, как вареный сахар. «А чего сегодня к ча-аю! Ну-ка, быстро руки мыть!» Приторный горячий запах, алюминиевая кастрюля без одной ручки. Не у Поли — няни и по совместительству домработницы — прошла директор фабрики свой первый кондитерский университет?

Целлофановый сверток.

— Вот. Андрюшке от меня. Я не знаю, где он сейчас...

Носки? Целлофан хрустит и сверкает, перевязанный лентой,— фасованную халву в таком продают. Газета ныне не устраивает Полю — в ногу с веком шагает.

— Сами завтра отдадите. Он пригласит вас.

— Да чего ж меня? Вы молодые, а я чего! Только веселью вредить. Поздравить от меня, скажешь — поздравляю, не болеет пусть, счастья ему.

Некогда препираться — молча суешь подарок в портфель.

— А я думала-думала — ну чего ему? Голову сломала. Галстук? Галстуки не носит он. А носки всегда приносятся.

По отношению к тебе няня не проявляет такого здравомыслия. Из подарков, что она обрушивает на тебя в день рождения, можно составить передвижную выставку ненужных вещей. Самый свежий по времени экспонат — безопасная бритва, торжественно врученная в день твоего двадцативосьмилетия. В следующий раз няня подарит тебе мяч. «Мячик у тебя был — красный с синим, не помнишь? Только появились они. Сорок седьмой год — какие там игрушки! Ты и не играл им. Возьмешь в ручки и носишь. Уменьский был, такой уменьский. В пять-то годков».

— Не помирились?

Наивная няня! Все надеется. Неужто же, прожив в вашем доме десяток лет, не постигла характера главы семьи?

— Как чувствуете себя?— вспоминаешь ты.— Грипп свирепствует.

«Войдите в мое положение, Лариса Павловна. Я не могу оставить отделение на девочку. Тем более сейчас». Любопытно, сколько лет этому Маркину.

— Они-то поздравят его? — Подумаешь, грипп! Не боится его старая няня.— Сын ведь... Тридцать лет...

Скалишь зубы.

— Будем надеяться.

С надеждой и состраданием глядят голубенькие глаза.

— А сама-то? Давление как?

Этого не знает никто. «Может, ты поговоришь с нею? Меня она не слушает». У тебя заботливая жена, Рябов,— контрабандой таскает дом мой тонометр, чтобы измерить давление твоей матери, но та бдительно охраняет свою руку.

Что-то про лук говорит няня — больше лука надо есть, чеснока, тогда никакая лихоманка не возьмет...

— Понятно.— За бумажником лезешь. Скоро Первое мая, и если

Поли не будет завтра у брата, ты уже вряд ли увидишь ее до праздника.

—...На воздухе гулять. А лекарства и все эти витамины — от них вред только.

Не замечает бумажника в твоих руках. Не хочет замечать — с ее-то дотошным зрением. Протягиваешь десятку.

— Пожалуйста, тетя Поля. К празднику.

Держись, Рябов,— начинается представление. С ужасом отмахивается свободной рукой, будто перед ней нечто потустороннее, а сама говорит, захлебываясь, что у тебя, дескать, семья, а у нее пенсия, что ты молод и тебе столько надо разного, а ей хватит, и лучше уж купи завтра что-нибудь Андрюшке... Не блещет няня разнообразием.

Десятый час. В понедельник с высочайшего разрешения Панюшкина можно совсем не являться в контору — день лекций, — но хотя бы на полчаса заглянуть надо. А еще кофепитие у тетки Тамары. *«Я сварю тебе кофе, Станислав. Мне прислали крекер из Мадрида, я хочу, чтобы ты попробовал»*. Молча и быстро вкладываешь деньги в морщинистую, по-старчески холодную руку.

...Лягушка на ладони у Шатуна — он бережно поглаживает ее пальцем, а вокруг дворовая шантрапа, наполовину еще тебе незнакомая, ибо вы только-только переехали сюда...

— Простите, тетя Поля, мне сегодня раньше надо.

Поля поворачивается за тобой, как подсолнух. Глаза из голубеньких становятся розовыми. Закон физики: влага меняет цвет роговой оболочки. А окулист и братец вслед за ним твердят, что ты дальтоник.

— Спасибó тебе! Господи, какой же ты...

Улыбнись на прощанье. Поласковой, ведь она помнит тебя пухленьким и курчавым.

Огибаешь площадку. Темные, мокрые островки льда — бывший каток. Поля машинально семенит следом за тобой, затем замирает. Не выронила б деньги от полноты чувств.

3

Джинсы. Полосатая морская блузка.

— Заходи. — Никаких «здрасте», будто минуту назад вышел отсюда. По-утреннему блестит маленькое личико. Питательный крем? — Раздевайся, я сейчас.

Джоник. Смотри, как он рад тебе. Добрый верный спутник тетки Тамары. Будем надеяться, на твоих отутюженных брюках не останутся следы собачьих лап. Погладь пса. Наверняка знаешь — никого в комнате, но бросив наконец быстрый косой взгляд, убеждаешься: не наверняка. Надеялся, выходит. Смешно! В Жаброве давно твоя знакомая.

Запах кофе и парфюмерии. Джоник ликует и извивается, но молча — в этом доме терпеть не могут лишних слов.

Проходи, садись. Ты прекрасно чувствуешь себя у тетки Тамары. Особенно сегодня: вчерашнее ночное вторжение вознесло тебя в глазах хозяйки. Отныне ты не мальчик, но муж. Отныне ты почти равен своему старшему брату, а что может быть достойнее в глазах тетки Тамары?

«Это твоя жена, Станислав, и ни одного дурного слова о ней ты от меня не услышишь». Отдай должное тете: трудно деликатней выразить неприязнь к супруге племянника. Загадочная неприязнь — ведь у них столько общего, да и твоя жена так предупредительна, так мягка и уступчива. И все-таки — неприязнь. Признайся, Рябов, что ты расчетливо учел ее, предлагая девочке ночное гостеприимство Тамариного дома.

«Когда уходит последний автобус в Жабрво?» — «В семь вечера». — «Сейчас уже восемь. А мы еще летим».

— Ты завтракал?

— Да, спасибо.

Роскошное кресло. Вытяни ноги — тетя обожает, когда гости чувствуют себя, как дома. Окуни руку в грязно-белую шерсть Джоника. Видишь, с какой готовностью опрокидывается он на спину. Раскоряченные лапы, голый розовый живот.

— Завтра в половине восьмого. Андрей говорил?

— У тебя?

Пожимает плечами — а где же еще? По душе братцу праздновать дни рождения у тетки Тамары. Третий год подряд... Или просто выбора нет? Не арендовать же ненавистный родительский дом.

— В субботу — югославская эстрада.

Считаю своим долгом проинформировать, а там твое дело, племянник. Лучшие билеты к твоим услугам. Разумеется, меня не интересует, с кем ты пойдешь. С женою ли, со знакомой. Ты же знаешь, Станислав, я не любопытна.

Знаю, тетя, знаю.

— В субботу я занят. — Ухмыляешься.

Тетя понимающе наклоняет седую голову.

— Разреши, я сварю тебе кофе.

Стиль простой и лаконичный. И ни малейших условностей.

«Ты не спишь? Мы в гости к тебе». — «Заходите. Раздевайтесь. Меня зовут Тамара». — «Зина». — «Очень приятно. Это — Джоник. Джоник, перестань прыгать, дай людям раздеться. Знаете, он всегда радуется гостям». Какое спокойное, какое простое обращение! Оно ужаснуло девочку. Частенько же хаживаешь ты сюда со своими девицами, коли хозяйка ничуть не обескуражена столь поздним вторжением.

«Хорошо, я провожу тебя к твоим знакомым. Замру в стороне и буду стоять так, пока ты не позвонишь. Надеюсь, у них есть звонок? — Кого вздумала обмануть она? — Вот что, товарищ Зина. Мы отправляемся сейчас к моей тете. Она одна живет, если не считать Джона». — «Кого?» — «Джона. Есть такое существо на свете». — «Я буду ночевать на вокзале». — «Я тоже. Но если завтра я засну на кафедре, меня вытратят из института».

Кофемолка. Горячий аромат жареных зерен. Размеренно двигается по кругу маленькая рука с фиолетовыми ноготками.

— Ты загорел. Вчера я не заметила.

Первое упоминание о ночном визите. Но приличие соблюдено, этикет не нарушен.

«Зачем вы разуваетесь? Станислав, ты ведь знаешь, я не люблю этого. Мой дом не картинная галерея. Пожалуйста, Зина, проходите. Джон, проводи гостей в комнату». На туалетном столе — россыпь косметики. Ко сну готовилась тетя.

— У меня кошмарная неделя. Генеральная репетиция, просмотр.

Скорее издай звук сочувствия. Скорее! Хотя, признаться, ты не подзревал, что театральная кассир имеет отношение к генеральным репетициям.

Тетя уходит на кухню — священнодействовать. Преданный пес уносится следом. Осматриваешься — с пристрастием, внимательней, чем всегда. Хочешь увидеть эту комнату глазами вчерашней гостьи? Современный интерьер — торшер, кресла, журнальный столик яйцевидной формы. Голые стены. Репродукция над тахтой — рисунок небрежный и разнузданный. Единственная вещь, за которую тебе было неловко перед девочкой. Дурное влияние брата на тетку Тамару.

«Всмотритесь в эту женщину — какая страсть в ней! Не похоть — именно страсть, что в наш кастрированный век не часто встретишь. Да, я такая, говорит она. И я не скрываю этого. Вы боитесь меня, презираете меня, но вы меня хотите и ничего не можете поделать с собой. Я сильнее вас... Эта женщина прекрасна, как мадонна Рафаэля». Лиш-ку хватил братец в полемическом запале. Надо отдать ему должное: девиц столь низкого пошиба ты не видал с ним. Добротная семейная чистоплотность сидит-таки в нем, несмотря ни на что.

На какое точное определение ты наткнулся ненароком: чистоплотность. Именно нечистоплотен рисунок. Эти вульгарные черные перчатки до локтей. Это бесстыдство подавшегося вперед тела. Сплетенные руки, на которые с грубым кокетством опущено размалеванное, порочное, потрепанное лицо с утиным носом. Опрятный человек не мог написать такого. Надо посмотреть в энциклопедии, кто он, этот Тулуз-Лотрек, имя которого братец произносит с благоговением. Если, конечно, он есть в энциклопедии.

Священнодействие завершено. Ярко-оранжевый ковшник на длинной изогнутой ручке.

— С сахаром?

— Кусочек. А ты не будешь?

— Я пила уже. У меня есть бисквит.

— Спасибо, я завтракал.

Двумя пальцами берешь хрупкую чашку. Беловатая оседающая пена на густо-коричневой поверхности. Сахар еще не коснулся жидкости, а уже потемнел и готов рассыпаться в руке.

«Что это? Никогда не видала». В Жаброве, стало быть, не производят подобного продукта. Нечто бело-розовое на деревянном поддоне. Сверху пчела висит. «Сахарная вата. Попробуем?» Искрится на солнце, тает, щекотно и нежно растекается по языку. Рядом жарят на углях шашлыки.

Пригубливаешь. Легкий, почти непронизвольный звук восхищения. Тетка Тамара не реагирует, но ты знаешь, что она польщена. Человеку без тщеславия не создать такого напитка.

«Зря иронизируете, Тамара талантлива. В ней есть внутренняя артистичность. Вас смущает, что она кассир? Кассир, видите ли, не имеет права на собственное «я». Вы полагаете, право на «я» дает должность. Как вы ошибаетесь все! Она любит театр. Она не может жить без него — за одно это надо снять шапку перед ней». Талантливый — не слишком ли щедр братец на это определение? Индугенция от всех грехов, грамота на существование пустое и разболтанное — это талант? В таком случае ты не претендуешь на него — как и твоя мама, впрочем.

Старинное, на твердом картоне фото в альбоме. Будущий директор кондитерской фабрики и будущий театральный кассир — две сестры, две миловидные девочки. Серьезные, чистенькие, остриженные, с вытарашенными в довоенный объектив светлыми глазами. Но в одной таились, оказывается, талант и прихотливость артистической натуры, другая же была просто пчелой.

— Еще чашку?

Ты не прочь сделать приятное тете, но с твоим скачущим давлением это будет чересчур крупной жертвой.

— Спасибо, нет.

— Тогда съешь яблоко. Тебе дать нож?

Прямо-таки парад хороших манер. Принимая его, нужно вести себя соответственно. Упаси тебя бог выказать старомодный интерес к существу, которое ты оставил здесь вчера ночью. Век требует легкости и простоты — будь же на уровне своего времени!

«Твоя знакомая не обидится, что ты бросил ее одну?» — «Я сказал, что пошел помогать тебе жарить яичницу». — «Тогда зажги, пожалуйста, газ». — «И потом, я думаю, она сыта моей самодовольной рожей». Одобрительный смешок — тетя ценит ироническое отношение к собственной персоне.

— С половины десятого до половины одиннадцатого у меня свободное время. — Стряхивает пепел в отполированный череп вымершего млекопитающего. — Курю, думаю. Иногда, знаешь, полезно посидеть и подумать.

Еще бы!

Струйка дыма. Седые волосы подчеркивают свежесть маленького, некрасивого, умного лица. Оцени дерзость хода — можно ли надежнее спрятать седину, чем выставить ее напоказ?

— Ты же знаешь, я встаю в семь утра. Сорок пять минут — зарядка по системе йогов.

«Сегодня пришлось раньше встать? Кажется, она собиралась в полшестого уехать?»

«Мне уйти?» Яйцо плюхается на сковородку, шипит и трепещет. Тетя, задав вопрос, сосредоточенно солит яичницу. На тебя не глядит. «Ни к чему. Тут нечто платоническое». Но тоном даешь понять, что глубоко презираешь подобные отношения.

— Пожалуй, я выпью еще чашку.

Подлизываешься, Рябов? Напрасно! Хоть до дна выдуй этот оранжевый сосуд с изогнутой ручкой — ни слова не услышишь о своей знакомой. Девочка пришла, девочка ушла, о чем тут говорить?

Пока тетя наливает кофе, достаешь из портфеля хрустящий целлофан.

— Полин подарок. Оставляю, чтоб не таскать.

— Полин? Но ведь она сама будет. Андрей непременно пригласит ее. Подожди, Джоник, не лезь, это не тебе, это Андрею. Носки Андрею, понимаешь? — Радостью истекает пес. Хвост отвалился сейчас от умиления и восторга. — Видишь, как он любит его? Любишь Андрея, Джон?

Любит. Джон всех любит, и этого достаточно тете. Конечно, достаточно, хотя некоторые считают, что этого мало.

«Думает, я завидую ей. Ее благополучию, ее квартире, ее высокому положению — ах, ах! Ее диктору. А я не только не завидую — мне жаль ее. Поделиться с ней хочется — не как с сестрой даже, как с человеком. Но она неспособна принять что-либо. Ни любви, ни совета, ни сострадания. Ни даже подарка — такого подарка, который делается не ради приличия, а от сердца».

— Гадаю, что подарить завтра Андрею. У тебя нет идеи на этот счет?

Не кормите тетю, не поите тетю кофе — советуйтесь с нею, и она ничего больше не потребует от вас.

— Сейчас я тебе покажу кое-что. — Тушит сигарету.

Бедное млекопитающее, как надругались над твоими останками!

Альбом. Скромно — подозрительная, чрезмерная даже для тетки Тамары, прямо-таки торжествующая скромность! — кладет его перед тобой, профилактически махнув по столу ладонью: не сыро ли? Атласная сверкающая обложка. Нерусские буквы — у тети гипертрофированный аппетит на импортную продукцию. «Toulouse-Lautrec». Тот самый гений, образец творчества которого красуется справа от тебя?

— Братец рад будет.

Маленькое и блестящее тетино лицо беззвучно оскаливается в ответ — ну точь-в-точь Вольтер, каким его знает мир по знаменитому бюсту.

— Рад... Он грезил таким альбомом.

Сочувственно сдвигаешь брови.

— Его трудно достать?

Что за омерзительный пропойца с сизым носом изображен на обложке?

— Лотрека? — Еще один смешок. Как много чувства умеет вложить тетя в этот короткий звук! Репетиции не проходят для нее даром. — В наших собраниях всего две или три работы Лотрека. Знакомый букинист сделал. Тридцать пять рублей.

Присвистываешь. Половина тетиной зарплаты. Третью, во всяком случае.

«Ужасно люблю вязать, но только для себя. Никто не верит, что сама изобретаю фасон. А когда вяжешь для заработка — разумеется, я иду на это в исключительных случаях, — меня это утомляет. Приходится повторяться. Это убивает все. Вязанье как искусство, оно не терпит повторения».

— Я открою тебе секрет удачных подарков. — Выжидательно проводит по вольтеровским губам кончиком языка. — Чтобы сделать хороший подарок, нужно любить человека.

— О! — Отхлебываешь кофе, почти остывший. Что-то не припоминается, чтобы тетя ошарашивала тебя необыкновенными презентами. — У меня нет знакомого букиниста.

— Необязательно альбом дарить. Позвони мне после трех. Возможно, я посоветую что-нибудь.

— Спасибо.

А о девочке, которая еще пять часов назад была в этой комнате, так и не проронит ни слова? Тебя больше не восхищают тетин такт и несокрушимая выдержка. Ты находишь даже некоторое сходство между нею и директором кондитерской фабрики. Сестры...

«Все о'кей! Сейчас будем дегустировать яичницу». Бодрость звенела в твоём голосе. Она стояла. «Извини меня. Я пойду». «Куда? Переговоры прошли в теплой дружеской атмосфере. Ты будешь спать на раскладушке. Я отведу с вами яичницы и удалюсь восвояси». Она внимательно посмотрела на тебя. Ты широко улыбался. «Тебя не устраивает раскладушка? Тетя уступила бы тахту, но тахта — ее слабость. Издержки возраста». В комнату вошла Тамара с шипящей сковородкой в руках. «Я сварю вам кофе, если хотите. Или чаю?»

— Уже уходишь?

— Пора. Надо забежать в контору перед лекциями. Шеф болеет, я за нее. — Внимание, сейчас ты упадешь в глазах тети. — Да, как она? — небрежно киваешь на пустое место, где, надо полагать, стояла раскладушка. — Не опоздала?

— Нет. Я завела будильник, но она раньше проснулась.

И все? К Джонику наклоняешься, ерошишь длинную шерсть. Изумительный пес!

— Не выспалась?

— Кто? — уточняет тетя.

Смеешься. За кого принимает она тебя?

— Ты, конечно.

— Я привыкла мало спать.

Гимнастика йогов.

— А она тем более. В деревне рано встают. С петухами.

— Я люблю деревню. — О, тетины штаны! Не без умысла берет на размер меньше. Вольтер в джинсах.

— Собака... Укусить хочешь? Ну давай, давай.

— У Джона вверху зуб шатается. Чувствуешь?

Чувствую, тетя, чувствую. Но, кажется, это не зуб, это хвост. И не шатается, а виляет.

— Она по направлению уехала.— Весь в игру с Джоником ушел ты.— Уже полтора года там. Медсестрой работает.

— Знаю. Очень славная девушка.

На пальцы, Джон! Кусай, не стесняйся! Ты отличный парень, Джон! Какой холодный нос у тебя! «Первый автобус приходит к нам в половине десятого»... «Очень славная. Очень».

— Она одна. Ни отца, ни матери.

— Да, она говорила.— Легкий вздох.— Когда увидишь, пожалуйста, передавай привет от меня.

— Думаю, в субботу.

Не выдержал, фанфарон!

— Какие грязные у тебя лапы, Джон! Тебе не стыдно перед Станиславом?

Меня совершенно не интересует, когда вы встретитесь с нею. Ты ведь знаешь меня.

Выпрямляешься. Джоник вскакивает.

— В двенадцать лекция.

У тети изумительные джинсы.

— Не опаздывай завтра.

— Как штык!

Воздушным потоком выносит на улицу. Тает, весна. Сейчас под автобус угодишь. «Очень славная девушка. Очень».

«Женщины не любят таких, как ты».

«Спасибо, но я...» «Вы не любите шампанского»,— опережаешь ты, подсказывая. «Люблю,— улыбается Люда, самая красивая женщина института.— Я люблю шампанское, но я...» «Но у вас болит горло. Ангина. А шампанское надо пить холодным». «Не болит.— Ласковыми глазами смотрит на тебя Люда, самая красивая женщина института.— Я вырезала гланды. Но сегодня я...» «Но сегодня у вас репетиция хора. Ах, нет— примерка в ателье. Неужели нет? Тогда очередное занятие в секции декоративного рыбоводства. Короче говоря, вы заняты». И кланяешься, беря назад свое приглашение. «К сожалению, да»,— сочувственно, но без особой печали соглашается Люда.

С чего ты взял, что она самая красивая женщина института? Золотистые, до плеч волосы и темные брови — это же диссонанс! Да и при чем здесь Люда! «Первый автобус приходит к нам в половине десятого». Братец не прав, но тем не менее ты подаришь ему завтра что-нибудь симпатичное.

А она — высокая. Не Люда — при чем тут Люда! — а девочка из Жаброва. Целых два дня околачиваться рядом и только теперь понять это! Тоненькая и высокая. Рябое приталенное пальто. И брови одного цвета с волосами. Или не одного? Ты преступно невнимателен, кандидат!

4

Полумрак подвала. Отсыревшей бумагой пахнет. Яркий электрический свет в гардеробной. Не наследил ли ты своими туфлями?

Дмитрий Романович мирно дремлет под бормотанье динамика. Максим Рябов в эфире? Нет, Москва вещает.

— Здравствуйте, Дмитрий Романович.

Старик дергается на своем обшарпанном кресле, сучит упакованными в валенки ногами. Пол ищет? Снимаешь пальто. Мокро на воротнике, на рукавах. Капель.

— Весна! — сообщаем ты.

Древними глазами глядит на тебя гардеробщик. Ни он сам, ни его

каморка — с электроплиткой, чайником, стаканом в подстаканнике — не изменились за последние шесть лет. Или некуда больше меняться? Неподвижная, конечная точка, за которой — ничто. Ты легок и бессовестно молод.

Зеркало в разошедшей раме. Причесьваешься. Веснушки еще не высыпали, но ты уже угадываешь их неотвратимое приближение. Оккупируют до субботы. Рыжий и весенний явишься в Жаброво. *«Это Станислав, тетя Матрена. Я говорила вам о нем». «Что же стоите, заходите. Сейчас молочка вам налью, парного. С дороги хорошо молочка».* Торт — заранее, в пятницу вечером. Гостинец из города. *«Одного нашего сотрудника поручили навестить. Он в санатории. Сто километров отсюда. Возможно, вернусь в воскресенье. Надо выяснить кое-что по теме». «Он что, любит сладкое, этот ваш сотрудник?» «Любит»,* — сухо и коротко. Лимит обиды не исчерпан: вы видите лишь утром да вечером, а дуться в рабочее время — недопустимая роскошь. Ты добросовестный сотрудник Рябов.

Крутая каменная лестница о пяти ступеньках. В деревянном строении — каменная лестница! Шалость тщеславного архитектора.

Шесть лет назад, когда ты гоголем явился сюда с красным дипломом, ветхость здания уязвила твое самолюбие. Дворцы вам подавай! Стекло и бетон! На белом коне въедем, гаркнем «ура» и нахрапом начнем двигать вперед экономическую науку, так рисовалось. Тщеславие не умерло за эти шесть лет, добротное папино тщеславие, но оно уже не торопит. Ипподромы существуют для гарцевания на белых конях, науку тянут тяжеловозы.

Тетюник в клетчатом пиджаке. Озабоченный, стремительный. Коридор несетя навстречу ему батареями отспления, дощатым крашеным полом, всеми своими газетами, стенгазетами, досками приказов, витриной «Наши публикации». Посторонись, юноша, — пусть летит человек. Он не может не лететь, поскольку директор Панюшкин ценит температур в сотрудниках. А будь другой в директорском кресле, вялый и рефлексирующий? В меланхолика б превратился ученый Тетюник?

Ба, полет прерывается. Тебя берет за локоть — интимно и многозначительно.

— Читал, читал! — с одышкой: утомился человек. Сделай заинтересованное лицо, Рябов, — на «Наши публикации» кивает коллега. Там две твои статьи — какую из них читал? — Убедительно, емко, дерзко! — Никакую. Даже не двигаясь умудряется лететь куда-то. — Выходите в океан, Станислав Максимович. В океан! — Не тельняшка ли под сорочкой у коллеги в память о давешней службе на флоте? — Вы понимаете меня? Пролив Каттегат, Скагеррак, Ла-Манш и — Атлантика.

— Кажется, вы хорошо знаете эти места.

— Я-то? Э-э, Станислав Максимович! Тетюник столько повидал на своем веку! Вот вы подшучиваете...

— Я? — пугаешься ты, и это не только дань учтивости. — Что вы, Валентин Михайлович! Я ведь знаю, вы плавали.

Сколько раз зарубал на носу: дома оставляй свою иронию, иначе в один прекрасный день пропустишь ненароком тяжелый прямой, и до десяти будет считать рефери, а тебе уже не подняться. Люди простят тебе все — и Ла-Манш и океан, но упаси бог, если ты выкажешь вдруг свое высокомерие!

— Так, значит, ничего впечатление? — уточняешь ты и тоже, в свою очередь, киваешь на «Наши публикации». Несколько небрежно — стоит ли говорить об этом! — но в то же время с уважительным вниманием к мнению старшего товарища.

Тетюнник, оттопырив губу и прикрыв глаза, энергично подымает большой палец. О как!

— Если ваша кандидатская — море, то теперь вы выходите в океан.

На докторскую намек? Торопливый товарищ. Сам в свои сорок с гаком — крупным гаком! — не вышел и в море, а тебе Атлантику прочит.

— На мель бы не сесть, — не выдерживаешь ты и тотчас уточняешь улыбкой, что к тебе — только к тебе! — относится твоя ирония.

— Не сядете. У вас прекрасная система ориентации. Как у мигрирующих птиц. — Это уже похоже на хамство. Вряд ли, впрочем, — хамство столь тонкого пошиба недоступно ему. — Ваши контрдоводы против Рашевича убийственны. Особенно где вы пишете об упразднении деления рабочих на основных и вспомогательных.

Вторая статья. Административно-хозяйственного аппарата?

— А сравнение административно-хозяйственного аппарата с крышей, которая непропорциональна зданию в целом? — Булькающий смех. — Прелестно! Просто прелестно.

Не читал: слишком навязчиво демонстрирует знание частных дел. Слышал что-то краем уха, а сам не читал.

— Рад за вас, Станислав Максимович! Честно, глубоко, искренне. — Ладошку к клетчатому пиджаку прижимает. Все летит, летит куда-то, но продолжает на месте стоять. — Большому кораблю — большое плавание.

Прочувствованно киваешь, благодаря. Снова ловит за локоть бывший морской волк — прощальное пожатие. Бочком, бочком — не задерживай океанский лайнер. Сильным человеком становишься, Рябов.

«Слава, у меня маленькое торжество — ты уж, пожалуйста, зарезервируй вечер», «День добрый, Станислав Максимович! Как ваше давление?», «Старина! Я всецело поддерживаю твою идею. Всецело!», «Послушай, у меня есть отличная машинистка. И недорого берет. Не надо ли?» Сколько разного мельтешит вокруг тебя, и со всеми надо быть терпеливым и доброжелательным. Ни угодничества, ни намывания авторитета тут нет — ты живешь, слава богу, не на необитаемом острове и обязан ладить с людьми. Обязан! Да и с какой стати ты должен выделять себя? В отличие от братца ты вовсе не считаешь себя пупом земли. Ученый, каких легион, экономист, достаточно хорошо знающий свое дело. Хорошо, да, но это не дает тебе права задирать нос. Или быть излишне требовательным к людям. Ты требователен к себе — этого ли недостаточно?

Дверную ручку так и не сделали — болтается. Завхозу некогда — выполняет личные распоряжения директора Панюшкина. Захватить завтра из дома шуруп и отвертку...

— Привет!

Федор Федоров и Люда, самая красивая женщина института. На вешалке цигейковая шубка — Марго явилась? «Врачи полагают, что разбираются в моем самочувствии лучше меня. Грозятся до мая продержаться на больничном».

— Маргарита Горациевна вышла? — Приподнято в голосе: шеф на ногах! Ты не можешь не радоваться этому.

— Вероятно. — Салют в небе напоминают морщины Федора Федорова. — Вас Панюшкин спрашивал.

— Что-нибудь срочное?

Руками разводит: вы полагаете, Станислав Максимович, директор докладывает мне, срочное ли у него дело?

Листок папиросной бумаги на твоем столе. Очередное ЦУ Панюшкина? «...Ускорить завершение и сдачу работ, предусмотренных планом

первого квартала». Марго здесь сегодня — почему же ЦУ на твоём столе?

— Как поохотились, Федор Андреевич?

На Люду заговорщицкий взгляд. Люда отвечает тебе улыбкой — не отрывая авторучки от журнала, лишь голову повернув. Оппозиция молодых.

— Охота! Какая ж охота после закрытия сезона?

Хитрит — вон какой салют распустил. Браконьерил, раз сезон кончился. До рентабельности ли производства тут?

Где Марго? Дверь в закуток, именуемый кабинетом зава, распахнута настежь. Старомодная черная сумка с металлической отделкой — ты помнишь ее еще по институту. Зачем Марго таскала ее на лекции? Из-за конспектов? Но она никогда не пользовалась ими. Или в ней лежал плавленный сырок для одинокой трапезы?

— Где так загорел? — Даже писать перестала — вот как заинтересовал Люду этот загадочный феномен.

— В Крыму, — ненаходчиво бормочешь ты и чувствуешь, как южное солнце снова припекает твоё лицо, но теперь уже изнутри.

На лоб вскидывает очки Федор Федоров:

— Вы в Крыму были?

— Экскурсия?

Люда догадлива. Люда все понимает. Умные серые глаза и ласковый голос. Самая красивая женщина института. Сегодня это не трогает тебя. Сегодня ты непробиваем, Рябов, — хоть сотню отборнейших женщин выстраивайте перед тобой. «Первый автобус приходит к нам в половине десятого».

Ее ты оставишь в отделе. Не потому, что она самая красивая женщина института, — как заведующего тебя не будет интересовать это. Отныне тебя не интересует это и как мужчину. Ее ты оставишь, потому что она умеет работать — в отличие от охотника Федора Федорова и домохозяйки Малеевой.

— Дети болеют? — киваешь на пустующий стол. Все еще припекает изнутри, но уже слабее. Деловые мысли! — какое солнце устоит перед ними.

— Была. В аптеку побежала — с маленьким что-то.

Люда добра. Люда готова работать за охотника и домохозяйку, вместе взятых. Ее ты оставишь. Переведешь в старшие научные. Марго сделала б то же самое, но ведь и Марго добра. И тоже готова работать за «вместе взятых».

Нет ничего худого в том, что ты думаешь об этом. Ты знаешь, что рано или поздно переедешь в закуток, именуемый кабинетом зава. «А если дальше заглянуть? Вам надо мыслить перспективно, Станислав Максимович. С позиции завтрашнего дня. С позиции заведующего отделом, если хотите. — Марго первая заговорила об этом. — Никто из нас не вечен. По-видимому, это звучит чересчур зловеще, но не пугайтесь, вас я не имею в виду. Просто тянет обобщать с некоторых пор. Один мудрец назвал философию наукой умирать. Не помните кто? Я тоже не помню. Видите, даже тут вы достойный преемник». Ученик, преемник, духовный сын... Ты искренне рад ее неожиданному выздоровлению, но почему ты не должен думать о будущем? В конце концов, ты экономист, а не свободный художник, экономисты же обязаны заглядывать вперед.

Графики, пояснительная записка... Где схема единичного распределения?

«Ты все предвидишь, все учитываешь. Все, что ты делаешь, диктует тебе твой разум». — «А кто должен диктовать? Желудок?» — «Пусть лучше желудок. Но ты и ешь-то не потому, что голоден, а чтобы под-

держат жизнедеятельность. Не бифштексы поглощаешь — калории». «Зато ты, я вижу, поглощаешь бифштексы». Но промолчал и лишь взглядом скользнул по борцовскому брюху братца. Узнай он о твоем крымском приключении, наверняка решил бы, что и это ты запланировал заранее, за квартал вперед.

Вот она, а ты перерыл два ящика. Марго и не предполагает, что схема готова. Только начало апреля, больше полумесяца до контрольного срока, а семьдесят процентов работы — в кармане. Больше...

Марго. Уважительно встаешь навстречу.

— Здравствуйте, Станислав Максимович. А я уж и не надеялась застать вас.

Сухое и плоское тело. Сколько болезней таится в нем! Неужто закрыли больничный?

— Я обычно захожу перед институтом. У меня третья пара. К двенадцати.

Блестят и смеются черные глаза. Это вы мне говорите, когда начинается в институте третья пара? Забыла, считаете? Считаете, у меня совсем уж дырявая память? Похуже, конечно, вашей — вы небось как сейчас видите меня за кафедрой, хотя сколько лет прошло! Шесть? Знаю, она была велика мне, кафедра, и потому приходилось подставлять скамеечку, которую, конечно, вы тоже помните.

Зачем? Зачем подставляла она скамейку? До сих пор не понимаешь пристрастия профессора Штакаян к этому громоздкому сооружению. Читала бы лекции сидя...

Диван удобен ей: ноги не болтаются, а твердо на полу стоят. Пристраиваешься рядом.

— Сделали процентов на семьдесят.— Буднично и скромно. «Знакомый букинист достал. Тридцать пять рублей. Андрей грезил таким альбомом».

Шеф молча смотрит на тебя. Не верит шеф. Жиденькие, черные, зачесанные на прямой пробор волосы. А глаза — огромные. Он прекрасный художник, Тулуз-Лотрек!

— Будете смотреть? — Подвигаешь бумаги.

Углубляется.

«Послушайте, Рябов, вы знаете, что это такое?» «Дипломный проект». Улыбка — широченная пошлая улыбка — сводит на нет все твое смирение. «Это основа будущей диссертации. Ну, может, не основа еще, но косточка во всяком случае. Со временем из нее вырастет дерево. Вам надо поступать в аспирантуру, Рябов. Хотите, буду вашим руководителем?»

— Данные собрал плановый отдел.— Тебе не нужно чужих лавров.

К переносице устремляются черные брови:

— Но им нельзя особенно доверять.

— Я объяснил, зачем нам.

Исполнитель. Отвечаешь на вопросы, не более. Только исполнитель, руководите же работой вы, профессор!

— Занизили. Гарантию даю — занизили. Вы плохо знаете производителей, Станислав Максимович.

Мальчиком все еще считает тебя профессор. Ученик, последователь, духовный сын... Все верно — дети всегда кажутся родителям такими несмышленишками.

— Не думаю. В конце концов, это их обязанность — экономическое обоснование способов производства. Ну и потом... Мы сделали выборочную проверку.

— Сделали?

Федор Федоров на лоб очки подымает.

— Я проверял — все тютелька в тютельку.— Не думайте, товарищ

заведующая, что я лишь по лесам шастаю. Я работаю.— Обнаружили в одном месте расхождение...

Ученый-экономист Федор Федоров. «Что делать, Станислав Максимович? Он должен где-то работать. Четыре года до пенсии, а никакой другой специальности нету».

Марго не ставила неуды. Не умела. Открывай учебник, катай один к одному — притворится, что не видит. Стыдно замечание делать.

— А бухгалтер там — мой старый приятель. Охотник тоже. На личичку зимой ходили. Честнейший человек! Так что уж липу, Маргарита Горациевна, нам не подсунет.

«Как экономист Федоров совершенно беспомощен. Коэффициент загрузки не может высчитать. Я вынужден...»

Не торопись, Рябов. Ничего ты не вынужден. Разумеется, после ухода сердобольной Марго никто не поддержит охотника Федорова, и все же ни к чему без крайней надобности демонстрировать кровожадность, которой к тому же в тебе нет. Лишь одного противника нокаутировал ты за всю свою спортивную карьеру, предпочитая выигрывать по очкам,— всего одного и то случайно. Просто ты напишешь объективную — вот именно, объективную! — характеристику, а уж дело комиссии, аттестовать его или нет.

Смуглая ссохшаяся рука. Одна страница, другая... Со стороны — беглый просмотр, но ты-то знаешь, что в ее поразительном мозгу отпечатывается все.

А впрочем, есть, может быть, смысл показать, что доброта доброю, но при необходимости и ты можешь быть... нет, не жестоким — тут требуется иное слово. Принципиальным — скажем так. Это-то и явит твоя объективная — строго объективная! — характеристика, в которой выскажется заведующий отделом Рябов, человек же Рябов по-человечески посочувствует охотнику и даже, если потребуется, трудоустроит его. Отдел будет — будет! — работать как часы.

Сравнительный анализ, но лишь миг задержалась на нем и — дальше. Даже ты не умеешь схватывать так быстро. Переоценивает тебя братец. «Мне нравится твоя профессорша. Я б портрет ее написал. В ней есть что-то такое... Сейчас не пойму, но если б писал — понял. Я когда работаю — прозорливей становлюсь. Умнее самого себя. Потом опять тупею».

Жаль, что все свои поступки братец совершает вне мольберта.

— Торопитесь?

— Нет, что вы, Маргарита Горациевна. Еще полчаса.

Фотография на книжном шкафу: тонколицая армяночка с сияющими глазами. Так всю жизнь и жила одна? Студентка Штакаян, аспирантка Штакаян, профессор Штакаян... И все — одна?

— Коэффициент по цехам брали?

Вот уже куда добралась!

— Да. И в целом вывели, но сначала брали по цехам...

Где сводная таблица? Волнуешься, Рябов. За восемь лет это превратилось в условный рефлекс — волноваться, когда твою работу просматривает профессор Штакаян.

— Вот. Отклонение в пределах процента.

Взгляд разом схватывает таблицу. Одобрительное, чуть приметное покачивание головы.

«Поздравляю. Я ужасно волновалась. Нагнитесь, я поцелую вас. Вы умница, Станислав! Вы и не подозреваете, какая вы умница. Где ваша жена? Я хочу сказать ей это — чтобы берегла вас и холила». — «Ее здесь нет. У нее сегодня дежурство». — «Жаль. Я очень верю в вас, Станислав. И я хочу... Ну вот, так и подмывает напутствие сделать. Не слушайте меня, дотошную старуху! Я вам подарок приготовила. Вот,

возьмите. Это шарф. Сама связала. Может, не очень модный — я не разбираюсь в этом, — зато теплый. Чтоб ангинами не болели». — «Не буду».

— Среднегодовой?

— Среднемесячный. Разница ноль одна, ноль две.

К самому уязвимому месту подошла. Проскочит? Вряд ли. Запнулась, переводит заново — медленней. Вопросительный взгляд на тебя. Разводишь руками: согласен, слабость, но что делать? Устанавливать исходные данные опытным путем — значит, заранее обречь себя на несдачу работы в срок. Никто не позволит. К 30 апреля надо закончить.

— Я возьму все это. Вы не могли бы зайти ко мне на этой неделе?

Так, значит, больничный не закрыт?

— В любое время. Позвонили бы, я б принес.

— Лучше унесете. Завтра в первой половине дня. Сумеете?

Подарок братцу. Тебя даже устраивает это — по дороге в универ-маг забежишь.

— Часов в одиннадцать?

— Если вам удобно. Ступайте, вам пора.

Только четверть двенадцатого, но вдруг опоздаешь? Не на тебя позор падет — на заслуженную голову профессора Штакаян. «На машиностроительном факультете вводят курс «Организация промышленного производства». Два потока, общая нагрузка что-то часов сто. Один день в неделю. Я рекомендовала вас». — «Но ведь ВАК еще не утвердила...» — «Утвердят».

Складываешь в папку бумаги.

— Бойтесь, растеряю по дороге?

Смеешься.

— У нас черновики есть.

Вставай и уходи: Марго нервирует твоя медлительность. Еще немного — и она заподозрит тебя в наплевательском отношении к лекциям.

— До свидания. Завтра в половине двенадцатого — у вас. — Не забыть надеть шарф, собственноручно связанный профессором.

«И ты будешь носить это?» — со смешливым удивлением. Эта веселость жены задевает тебя, провоцирует на резкость: «Свяжи что-нибудь получше». «С удовольствием, но я...» — и виновато разводит руками. Что означает этот жест? Ее беспомощность в делах подобного рода? Занятость? Ибо столько забот у твоей супруги: конференции, семинары, встречи с сокурсниками...

Любопытно, сколько ночных дежурств падает в месяц на одного врача?

Не купить ли завтра цветов профессору?

«Это тебе». — «Спасибо. Большое спасибо. Только... Ты не обидишься, нет?» — «Разве я похож на человека, который обижается?» Твоя будущая супруга размышляет секунду-другую и отвечает мягко: «Пожож», отчего твои торчащие уши уличенно вспыхивают. Доверительным быстрым шепотом объясняет, что, когда даришь женщине цветы, надо снимать бумагу. «Пардон! Надеюсь, мне больше не придется делать этого». «Почему?» Крупные и темные влажные глаза глядят на тебя с неподдельным интересом. С неподдельным! — хотя сейчас ты почему-то уверен, что она сразу все поняла. Кажется, такое подозрение мелькнуло у тебя еще тогда, и тем не менее ты принялся косноязычно объяснять: «В смысле... Женам, кажется, не дарят цветов». «Ты так думаешь? В таком случае, — сочувственно сказала она, — я не завидую твоей будущей супруге». «Можешь избежать этой ужасной участи».

Уши горели, как костры. «Я?» — тихо удивилась она «Ты». И тут-то впервые заметил ее сдержанную и оттого особенно очаровательную — тогда она показалась тебе очаровательной — смешливость. «Какая странная манера делать предложение женщине!» Ты пожал плечами, а она уже совершенно серьезно, с какой-то сострадательной озабоченностью задала свой вопрос: «А ты... Ты уверен, что любишь меня?»

А ведь ты и впрямь не дарил цветов с тех пор. И до этого, кстати, тоже.

Приемная директора. В твоём распоряжении десять минут.

— У себя? — Вскинув руку, дружески приветствуешь Клавдию.

Кивает — здороваясь и одновременно отвечая: у себя, можно. Открываешь дверь.

Рад видеть вас! Рад, рад — искренне, как всегда. Говорю по телефону, ну да плевать. Главное, вы здесь, Станислав Максимович!

Не отрывая трубки от уха, интимно прикрывает глаза. Слабость питает к тебе директор института. «Люблю молодежь! Не всякую, разумеется, — вы же понимаете. Талантливую, работающую, честную. Такую, как вы. Это я вам без брехни говорю. В моем лице вы всегда найдете поддержку. Да вы и сами это чувствуете. Так ведь, чувствуете? Ну признайтесь?» Бурный темперамент. Искренний и бурный.

Глазами на кресло показывает: садитесь, прошу! Не на стул — в кресло. Почетный гость. Я демократичен и прост, директор института. Я справедлив. Вы ученик профессора Штакаян, любимый ученик профессора Штакаян, врага номер один директора Панюшкина, но это, видите, не мешает мне относиться к вам с щедрым дружелюбием.

Учись объективности, Рябов!

Садисься.

— Так. Все ясно. Так.

Вот какое уважение к тебе! Едва вошел, спешно разговор закругляет. Бережет, бережет директор рабочее время сотрудников.

«Ученый, товарищи, это легкоранимое существо, к которому надо относиться с заботой и пониманием. Нервы его напряжены, мозг работает без отдыха — днем, ночью, даже во сне. Все это, как вы понимаете, накладывает на характер человека определенный отпечаток. Мы все уважаем и ценим Маргариту Горациевну Штакаян, ведущего специалиста нашего института. Ее исследования экономической структуры производственных объединений получили всесоюзную известность. В нынешних условиях эта фундаментальная работа приобретает особое значение. Зачем я говорю все это? Мне хочется напомнить членам ученого совета, а также присутствующим здесь товарищам из директивных органов, насколько загружена Маргарита Горациевна. Кроме основной работы, она ведет аспирантов, регулярно выступает в периодике, здоровье же ее, к нашему глубокому сожалению, уступает здоровью космонавтов. Поэтому естественно, что Маргарита Горациевна физически не в состоянии вникнуть во все тонкости работы института. Именно этим я объясняю резкость ее высказываний. Маргарита Горациевна считает, что мы должны взять конкретные предприятия с низкой рентабельностью и помочь им наладить кровообращение, как она выразилась. Но тогда мы превратимся из исследовательского института в придаток производства. Магистральная же линия экономической науки, как, впрочем, и всякой другой, — прослеживать общие тенденции, выявлять закономерности, а не копать в частностях».

— Хорошо. Я вас понял, хорошо.

К терпению взывает устремленный на тебя взгляд. В отполированной лысине — многократно уменьшенное, четкое, искаженное округлостью отражение окна.

Кипы бумаг — на столе, на шкафу, на приставном столике, демо-

кратично застеленном невыглаженной портянкой. Диаграммы на стене. На сейфе — мудрые толстые книги. Здесь работают, черт побери, и не купаются в роскоши. Экономист обязан знать счет деньгам. Мало говорить о бережливости, надо на практике осуществлять ее — лично!

Любопытно, исповедовал ли он эти принципы, будучи зампредседателем облисполкома? Или на ходу перестроился, катапультировавшись в ученые?

Груботканая рубаха с распахнутым воротом. Племенная шея. «Садитесь, Станислав Максимович. Извините, что побеспокоил вас, но я новый человек и мне хочется лично познакомиться с каждым. Во всяком случае, с ведущими работниками института. Читал ваши статьи. Слышал, что будете защищаться весной. Но это все анкета, фасад, а хочется, знаете, внутрь заглянуть. Пощупать, так сказать. Вы понимаете меня?» Еще бы! Косишься на волосатые пальцы руководителя.

— Позвоно, как выясню. Привет!

Разбухший потрепанный портфель с поржавевшими замками. Белье в нем? «После работы в прачечную иду. А что делать — жизнь! Живая жизнь, да!»

— Сегодня же понедельник, лекции у вас. Могли б завтра зайти, послезавтра. Я ведь как просил передать? Будет время у Рябова — пусть заглянет. Но не сегодня же! Сегодня, думал, вас вообще не будет. Понедельник — ваш день. Читайте лекции, сидите в кино, загорайте. День для души. Творческому человеку необходимо иногда развеяться. Кстати, вы действительно загорели. Где это угораздило вас? — Долой служебную иерархию! — простеcki и дружелюбно.

— В Крыму.

— В Крыму? Каким образом?

— На самолете. Вчера и позавчера.

— Экскурсия? Чудесно! Просто чудесно! Завидую вам, Станислав Максимович. Я ведь тоже собирался с женой. Некогда! Работать и то некогда. Звонят, идут, пишут. — Отговаривает от директорского кресла? Не слишком ли заблаговременно? — Разве что вечером? Но вы же понимаете, какая работа вечером! Голова, как валенок сибирский.

Воинствующий демократизм. Рубаха-директор.

«Возможно, у товарища Панюшкина хорошие административные качества, но ведь у нас научно-исследовательский институт, а не... вокзал, универмаг. Не знаю, где в первую очередь требуются административные качества. Сегодня итоговый ученый совет, и мы должны честно признать на нем, что научное руководство в истекшем году осуществлялось крайне некачественно. Я привела несколько примеров, но число их можно увеличить. Как могли вы, товарищ Панюшкин, согласиться на руководство научным учреждением, не имея опыта научной работы?» «Не боги горшки обжигают, Маргарита Горациевна».

— Да вы ближе садитесь, ближе! Вы что думаете: ближе сядете — больше задержу? Три минуты. Ровно три минуты — засеки по часам. — Целый раунд. Не так уж мало. — Опять тот же вопрос в порядке консультации.

Новый тип руководителя: плюет на ложное самлюбие. Что тут зазорного — проконсультироваться с подчиненным, пусть он и вдвое дороже меня!

Папка с замусоленными тесемками. Исходные данные, черновики расчетов. По-прежнему Зайцев и Скок осуществляют?

Бойкие, неунывающие ребята под общим псевдонимом Скачет-зайчик. Оба в клетчатых штанишках, оба в замшевых курточках, у обоих ослепительные улыбки. Один, правда, в очках, но, кажется, иногда дает поносить их приятелю. Семьдесят лет на двоих — того и гляди, зайбилеют. Бог весть куда скачут они, тебе, однако, перебежать дорогу не

собираются; напротив, всячески демонстрируют свою лояльность, а веселые глаза их, попеременно прикрытые очками, так и кричат: «Мы с тобою! Мы с тобою!» Не надо, мальчики. Скажите сами.

— Вот, Станислав Максимович, посмотрите на досуге. Я вам признаюсь: меня методика расчетов смущает. Взгляните своим глазом, а? Я уж не вижу ни черта: свыкся, сросся — ну, вы понимаете. Посмотрите, я вас очень прошу.

Осторожно, кончиками пальцев дергаешь замусоленную тесьму. Презентовать, что ли, папку директору?

Почерк незнаком. Кто же составлял? Лично ты участвуешь в мероприятии в ранге консультанта — тут даже Марго не усмотрит ничего зазорного. Любой гражданин страны имеет право обратиться к соотечественнику за помощью — почему же Панюшкин должен быть исключением?

— Это все новое?

— Да, вы не видели. Заключительная часть.

Оперативно, однако! *«Нет опыта научной работы? Побойтесь бога, Маргарита Горациевна, а моя монография?» «Ваша?»*

Добрая Марго, великодушная Марго — кто бы мог подумать, что она затеет свару с директором? Ты ее ученик, но отсюда вовсе не следует, что ты должен ввязываться в эту шумную перебранку. Не примыкать к группировкам — разве не давал ты себе этого торжественного обета? Научные дискуссии — пожалуйста, все же остальные конфликты пусть Тетюнники разрешают. Некогда наукой заниматься, товарищи, — за правду боремся!

— Потом посмотрите — не срочно. Как время будет.

Никакого давления. Можешь положить папку на стол и сказать, что время будет в следующей пятилетке. *«Ради бога. В следующей, так в следующей. Разве я регламентирую?»*

— Чему улыбаетесь? Смешное там что-нибудь? Скажите, вместе посмеемся.

— Нет-нет.

Наглеешь, Рябов!

Звонок.

— Извините. — «Мы должны быть предупредительны друг к другу. Единой семьей жить. У нас не такой уж большой коллектив, товарищи». — Слушаю... Да, я... А-а, привет!

Скока почерк. Старательный мальчик Скок — тридцать четыре года. «В отчете много белых пятен. Непонятно, например, чем занимался все это время Скок». — «Загляните в план, Маргарита Горациевна». — «Заглядывала. Но мы сейчас обсуждаем не план, а отчет». Что с Марго? Никогда ведь не отличалась агрессивностью.

Растерянность в глазах — где скамейка? На первом часе, до перерыва была, а сейчас нет. Неужели нет? Ищите, профессор, ищите. Мы знаем, что читать лекции сидя вы не привыкли, а без скамейки разве что нос будет торчать над кафедрой. Как же быть? Вы свой человек — не ставите неудоб, позволяете болтать на лекциях, раздаете «в долг» студентам деньги — почему бы еще и не подшутить над вами? Вы не злопамятны, Маргарита Горациевна, вы не обидитесь на нас. Посмотрите: мы так молоды, нам порезвиться охота. Молча умоляете глазами вернуть скамейку? Ну, профессор, это нечестно. Поищите еще! Загляните под стол, вот так. Повернитесь вокруг своей оси. Не обращайтесь внимания на нас — мы своими делами заняты.

Ты знал, где спрятана скамейка, как, впрочем, и все остальные, но существует студенческая солидарность, и ты не имел права быть штрейкбрехером. Степанов им стал. Поднялся, размеренным шагом пересек притихшую аудиторию. «Пожалуйста. Извините нас». Даже

тогда не проявила агрессивности Марго. Ни слова упрека. Вскарabкалась на скамейку, дрожащим голосом продолжила лекцию. Она любила студентов и с каждым в отдельности находила общий язык, а вот когда они скопом, в аудитории — не выходило. Девочка, которая заблудилась в толпе... В конторе она другая.

— Черт, не поговорить спокойно. Без конца звонят.

Снова незнакомый почерк. Со стороны кто-нибудь? По договору? Закрываешь папку, в портфель суешь. Полотенце в целлофане, синяя мыльница, плавки.

— Я могу идти?

— Станислав Максимович!— с укором: можете идти, можете бежать, хоть на голове ходите — разве я лимитирую вас! Разгул демократизма.— Вообще-то я вас не за этим хотел видеть. Это так, между прочим, но для главного разговора у нас сейчас нет времени. Не у меня — у вас.

Для главного разговора?

— Есть немного.

— Нет-нет, разговор этот нельзя комкать — потерпим до завтра.

Хорошо, потерпим. И не надо спешить, не надо так сразу видеть связь между сегодняшним визитом Марго в институт и разговором, который нельзя комкать. Где была она, когда ты вошел в отдел? Нет, она не могла подать заявление, не предупредив тебя.

— Тогда завтра утром?

— Чудесно! Заходите, кто бы ни был у меня. Для вас эта дверь открыта всегда.

Ты озадачен, однако. Еще успеешь заглянуть в отдел... Зачем? Проявляешь нетерпение, Рябов. О другом подумай. Вспомни кипарисы. Море и кипарисы... Не действует? И не надо! Негоже являться перед студентами в порхающем настроении.

5

Положив мел, тщательно вытираешь тряпкой пальцы. Отойди, не загораживай, пусть перепишут.

Девушка у окна все читает. На коленях пристроила книгу, откинулась и полагает: не замечаешь. Или ничего не полагает — просто забыла о твоём существовании. На перемене-то выходила из аудитории? Лучше бы — нет. Тогда, стало быть, не лекция скучна, а очень уж захватывающая книга. О любви?

Парень в твоей курточке все строчит. Не конспектирует, нет — что-то постороннее. Письмо сочиняет? Хотя бы для приличия посматривал на доску. Должно быть, видел тебя в курточке, и это низвергло тебя с преподавательского пьедестала. Ты демократичен, как Панюшкин, но все же учитель и ученик не должны одеваться одинаково.

На что надеется — на учебник? Неужто же не все еще усвоили, что ты не дублируешь учебник — зачем, его можно прочесть самостоятельно, — а вот проштудировать всю периодику, как это делаешь ты, готовясь к лекциям, студенту не по зубам. На экзаменах он убедится в этом.

И девушке, что несвоевременно упивается романом о любви, припомнишь на экзаменах ее легкомыслие? Увы! Когда за столом против тебя сидит прекрасное создание, сила духа оставляет тебя. Надувайся, как индюк, изображай академическое бесстрашие — все равно ты беспомощен, экзаменатор. Джентльмены не обижают женщин. Джентльмены плюхаются в воду спасать дельфинов. Бог с ним, с прекрасным созданием, но вот сочинитель в курточке покусает локоток.

Шесть минут до звонка. Не надо никаких заключений — студент

терпеть не может этого. Метода Мясоедова... Жирный флегматичный Мясоедов устраивал фейерверк из каждой темы. Но даже на его лекциях были сачки — в экономическом вузе это естественно. Бум высшего образования свирепствует в стране — сколько случайных людей загоняет он в институты! Лишь бы попасть, лишь бы зацепиться! Специальность экономиста занимает в иерархии популярности одно из последних мест — прекрасно, пошли в экономический: авось легче протиснуться. Тебя не это волновало: еще до получения золотой медали знал, что поступишь в любой вуз. Но рыцарем на распутье не был. Газетный ураган, вздыбленный вокруг экономической реформы, вынес тебя на дорогу широкую и прямую.

Обводишь аудиторию взглядом. Кое-кто переписал, отдыхает. Хоть кто-нибудь из этой полусотни студентов согласился бы променять машиностроение на экономику? О чем вы, Станислав Максимович, — это же дисквалификация. Сопромат, черчение — что там еще у них? — это да, это науки, достойные мужей, а экономика и все иже с нею — вязкая абракадабра, которую вдалбливают нам в головы неизвестно зачем педанты преподаватели.

«Производственные силы все время в развитии — новая техника, новые мощности, производственные же отношения топчутся на месте. Это все равно что иметь современный автомобильный парк, а пользоваться правилами уличного движения времен дилижансов. — Интересно, осталась ли хоть у кого-нибудь в голове эта развернутая метафора, с которой ты начал свою вступительную лекцию? — Инженер, не знающий законов организации производства, похож на шофера, который не смыслит в правилах уличного движения. Неминуемая авария ждет такого автомобилиста».

— Станислав Максимович, две минуты.

И другой голос, в поддержку:

— Отпустите, а то очередь в столовой.

Мясоедов отпускал. «Даже самая изысканная духовная пища не заменит посредственного харчо. — К еде он относился с не меньшим благоговением, нежели к цифрам, — фамилию оправдывал? — Ступайте, только не топайте, как слоны».

На часы глядишь. Не две минуты — три. Почти три.

— Только тихо.

Подымаются — дисциплинированные, смиренные, поодиночке плывут к выходу, но, едва переступив порог, припускают, уверен ты, галопом. Надуть ближнего спешат — с таких-то лет!

Девушка читает. Нет, подымается, к выходу идет. На цыпочках — какое уважение к преподавателю! Глаза скромно опущены. Цесарочка! Все-таки харчо перетянуло любовные похождения, которые, в свою очередь, перетянули лекцию. Прав, прав Мясоедов!

Звонок. Двенадцать, полдень. Четверо с половиной суток до субботы.

А сочинитель в твоей курточке все строчит. Касаешься курточки ладонью.

— Молодой человек, лекция окончена.

Ошарашенные, нездешние глаза. Нокдаун средней тяжести.

— Извините.

— Ничего, можете продолжать. Не прозевайте только обед.

С невозмутимым видом покидаешь аудиторию. Отныне он не посмеет на твоих лекциях строчить письма любимым девушкам. Девушки поблагодарят тебя: кому охота в наши дни читать столь длинные послания?

К кафедре пробираешься в бушующей, галдящей толпе студентов, внешне почти неотличимый от них. Посредственной вышла сегодня лек-

ция. Крымское приключение повинно? Тема, малопригодная для спектакля? Нет, инсценировать можно все. Бегло и язвительно изложить устаревшую концепцию, выудив ее из пыльных экономических фолиантов, фамилии авторов назвать — вместе с громкими титулами, — а после этой невинной увертюры начать ослепительное представление. Едко расправляясь с музейными понятиями, попутно и как бы исподволь излагать современную точку зрения. Представление, основанное на тонком знании молодой аудитории. Бунтарской студенческой душе куда ближе разрушение пьедесталов, нежели возведение их.

А ведь тебе не всегда придется копать в архивном мусоре, выискивая материал для опровержения, — кое-что поставит память. Сокрушительно будешь громить с преподавательской кафедры то, что отстаивал когда-то на студенческой скамье. Потом то же случится с сегодняшними твоими принципами. Не конъюнктура, нет, — диалектика жизни. Воскресни сегодня Черепановы, разве не отказались бы они от идеи паровоза в пользу электрической тяги? От той самой идеи, за которую некогда воевали самоотверженно и пылко? И никому бы не пришло в голову обвинить их в беспринципности. Напротив...

Хорошее сравнение для популярной брошюры. Или учебника? «Прямое воздействие предназначено для установления жесткой связи с объектом. В этом случае фактическое поведение управляемой системы, характер и размеры ее выхода должны возможно более точно соответствовать содержанию и величине задания, определенного командующим воздействием». Кошмар! «Допущено министерством в качестве учебного пособия». Ты никогда не сумеешь говорить так мудро. Ту же мысль ты выразил бы тремя словами: надо план выполнять. Не написать тебе учебника, кандидат! Министерство не допустит.

«Я не за этим хотел вас видеть, но для главного разговора у нас нет времени... Нет-нет, нельзя комкать. Потерпим до завтра». Неужели... Но тогда ты заметил бы по Марго. Нет! Да и вряд ли добровольно уйдет — коллекция морских камешков не заполнит пенсионного досуга. А что делать — дома, одной?

Кафедра. Виноградов, твой коллега, твой молочный брат, последний аспирант профессора Штакаян.

— Приветствую вас, товарищ Виноградов! — Громко и жизнерадостно. Больше никого на кафедре, только зябнущая лаборантка Нина с прозрачным лицом, но с ней ты уже виделся.

Молочный брат отрывается от журнала. Роговые очки, взгляд умен и серьезен.

— Здравствуйте.

Прерогатива дураков — броско-интеллектуальная внешность, но в данном случае перед тобой исключение. «Вы знаете, я верю в Виноградова. Очень способный и — главное — большой труженик. А как человек — прелесть. Просто прелесть, вы согласны со мной?» Согласен, Маргарита Горациевна, и искренне недоумеваю, чем не угодил своему молочному брату. Видит бог, ни единой стычки не было между ними, а на зависть, по-видимому, он не способен.

— Как диссертационный марафон? — Ухмыляешься, но не обращай внимания, Маргарита Горациевна, это ровно ничего не значит. Он мне глубоко симпатичен, ваш последний аспирант, симпатичен, несмотря на обнаженную неприязнь к моей плебейской роже.

— Работаю.

Видите, профессор, какой вызывающий демарш! А ведь я ваш любимый ученик, ваш духовный сын и преемник. Но и ревности, клянусь, я не подозреваю в нем.

Берешь портфель с подоконника. Медлишь, однако, весело глядя на погруженного в журнал брата.

— Я мешаю вам? — Тебе по душе его подтянутость.

Соизволил поднять голову:

— Нет. Пожалуйста.

Благодарю! Не везет тебе на братьев, Рябов, — ни на родных, ни на молочных. Но молочный моложе тебя и не ты, а он зависит от тебя (защита не за горами!), и потому великодушно перешагиваешь через свое погрязшее самолюбие:

— У меня есть кое-какие материалы по рационализации управления. Если не ошибаюсь, это ваша тема.

Строгие глаза за стеклами очков: я слушаю вас, продолжайте. Русой прядью спадают на лоб волосы.

— Вас интересует? Могу принести.

— Спасибо. У меня достаточно материала.

— Ради бога! — Беспечно скалишь зубы. Затем отпираешь портфель и шарь там, что-то выискивая. Мыльница с мочалкой, плавки, полотенце...

Что ты ищешь тут? Братец прав: скряга твоя память. Какой только хлам не пылится в ее бездонном чреве!

Застегиваешь портфель. Кто-то, видать, наслетничал о тебе молочному брату, а он... Но и на человека, который верит сплетням, он тоже не похож.

— Вы уходите, Станислав Максимович? — Зябко кутается лаборантка в пуховый платок. — Вас Архипенко искал.

Или все дело в манере держать себя, которую ты, комплексуя, принимаешь за антипатию к собственной персоне? Конечно, комплексуешь, ибо за что не любить тебя аспиранту Виноградову?

Небесными глазами глядит лаборантка Нина — ответа ждет. Зачем понадобился ты доценту Архипенко? В отличие от молочного брата этот полнотелый филателист с печальными залысинами питает к тебе жаркую симпатию. Будем надеяться, не только из-за марок, которые ты привез ему из Югославии.

— Что-нибудь срочное?

— Он не сказал. — Лицо бледное и зябкое, как отражение в воде.

«Передайте ему, Нина, что я жду его в бассейне. Четвертая дорожка».

— Я вернусь к двум. У меня еще пара.

Энергично одеваешься.

— Чао!

Мимо ушей пропускает молочный брат это бравурное приветствие. Его дело — в конце концов, защищаться не тебе, а ему, а кто может поручиться, что не кандидату Рябову выпадет честь быть официальным оппонентом? Ты не откажешься — блистательная возможность преподнести стройтивому брату урок великодушия и строгой объективности. *«Несмотря на названные недостатки, работа в целом, повторяю, глубока и актуальна. Лично у меня нет ни малейшего сомнения в том, что соискатель Виноградов заслуживает звания кандидата экономических наук».*

На улицу выходишь. Всюду солнце: в сырых тротуарах, окнах, каплях воды, падающих с крыши, лакированных женских сапожках, стеклах машин. Низ водосточной трубы — из молодой жести, еще не крашенной, и здесь солнце прямо-таки неистовствует. Журчание, звон. Смеются девушки с непокрытыми головами. Распахнутые пальто.

К пятнице от снега не останется и следа... Ходит ли автобус в распутицу?

(Окончание следует)



Р. КИРЕЕВ

★

ПОБЕДИТЕЛЬ*

Роман

6

Хорошо! Еще холоднее, вот так. Кипятком покажется теперь вода в бассейне. Запрокидываешь голову. Острые густые струи — в лицо. Ледяной массаж. Нашариваешь горячий кран — закручен до отказа. Лишь в студеной воде по-настоящему живет тело. Свежесть чистой стянутой кожи. Мускулы — как взведенные курки.

«Поздравляю, старик. Я ни черта не смыслю в твоей диссертации, но судя по тому, что говорили эти ученые мужи, у тебя и впрямь светлая голова». — «Как лунная ночь». — «Перестань! Сегодня я почувствовал твою силу. Ты можешь все. Понимаешь, все. Я говорил тебе много гадостей — плюнь. Я все время видел тебя слишком близко, только как брата, а сегодня я увидел тебя как бы со стороны. Мне портрет твой захотелось написать. Ты будешь мне позировать, старик? В нем не будет ярких красок. Голубое, белое, слоновая кость. Немного, может быть, зелени — совсем чуть-чуть. Ты дальтоник, ты не понимаешь меня. Мне хочется передать твою силу. И твою — как назвать это свойство? — незаземленность, что ли. Люди в большинстве своем притянуты к земле, опутаны ею. Ее запахом, красками, сутолокой. Я по себе знаю. А ты — выше. Не там, а выше. Не понимаешь? Меня, например, любой пустяк из себя выводит. Сегодня встал, собрался писать с утра, а за стеной — соседка на сына орет. Он дефективный у нее, в спецшколе учится. Противный, грязный, из носа течет... А она — с утра на него: ублюдок, выродок несчастный. Мне так муторно стало. Все, думаю, против него, даже мать родная. Размяк, в общем. Гулять она его выпустила. Я — к нему с яблоком. На, говорю. Он смотрит на меня — косой, лицо тупое, слюни тянутся. Бр-р! Куда уж тут работать — пропал день. А у тебя, я знаю, и часу не пропадет. Потому что ты не там, а выше. Так и нужно, если хочешь добиться чего-то. Я обязательно твой портрет напишу».

«ЭКОНОМИСТ ПОД ДУШЕМ»... Чем не название для картины?

Пора. Закручиваешь кран. Горит тело. Теплый кафель под ногами. Открываешь дверь, полощешь ноги, еще дверь — и яркий дневной простор под стеклянной крышей.

На крайней дорожке — дети в разноцветных шапочках. Барахтаются, визжат. Могучая, как водолаз, тренерша в красном костюме с белой полосой. Приветственно киваешь.

Никого, лишь мужчина в мотоциклетных очках. А вечером не протолкнешься. «Нет-нет, только не окно в расписании. Что буду делать эти два часа?» А бассейн — в квартале от института.

Держась за металлический поручень, медленно спускаешься в во-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

ду. Ты терпеть не можешь эффектных прыжков, выплескивающих на бортики полбассейна.

«Помогите! Тонет!» Примечательно, что орудием своего гуманизма дама в лакированном плаще избрала тебя, а не своего упитанного супруга. Тому некогда было: со знанием дела рассуждал о пользе спасательного круга. Ты, как мешок, плюхнулся в воду — в майке, белых трусиках и, разумеется, носках. Вот когда братцу писать портрет с тебя.

— Стоп, стоп, стоп! Еще раз.

К бортику сбегаются разноцветные шапочки: красные, синие, зеленые..

«У вас дальтонизм, молодой человек». — «Впервые слышу. Я прекрасно различаю цвета». — «Только чистые. Оттенки вам недоступны. В практической жизни это не играет роли. Но права вам не дадут».

«Ну и что? — сострадательно успокаивает верный друг, жена и товарищ. — Я буду водить машину. Среди женщин нет дальтоников».

Под номером два стоит автомобиль в вашем перспективном плане. После кооперативной квартиры.

«Минаев звонил»... Квартиру ты построишь — с божьей ли, с минаевской ли помощью, но между первым и вторым верстовыми столбами тебе удастся, надеешься ты, втиснуть нечто такое, с чего, если верить преданиям, в иные времена начинались все семейные планы. Вот именно — в иные! Ты чудовищно старомоден, Рябов, о чем, кроме тебя, не подозревает никто. Бабушек как не понять, если дети были потенциальными работниками в семье, но почему тебе не терпится завязывать голубые бантики? Дикторская сентиментальность — она, она, матушка, вот только что-то рано подала она свой голос. Мамина гипертония и дикторская сентиментальность. Хорошо же оснастили тебя родители!

Медленно, с силой разводишь руками. Прозрачная толща воды выгибает дно.

Мотоциклетные Очки стремительно обходят тебя слева. Воображают — несутся, как торпеда. Сникнут через минуту.

«Вы местный? Вы очень мужественно вели себя». — «А что, это исключительно крымское качество?» — «Я неточно выразилась. Вы были очень оперативны». Еще бы! Оказаться перед знакомой девушкой в вульгарных трусах и носочках — тут и не умеющий плавать сиганет в воду. Ухмыльнулся на прощанье: «Откроем купальный сезон».

Странно, а вот как ты оказался в трусах и носочках — не помнишь. Поразительный провал памяти! Но кошмарная мысль, что на тебе не плавки — трусы, была. Именно в этот момент, можно предположить, ты и скидывал портки. Перед девочкой из Жаброва, которая глядела на тебя с ужасом.

Бортик. Отталкиваешься ступнями, скользишь, прижав к туловищу руки. По соседней дорожке, брызгаясь и фыркая, несутся Мотоциклетные Очки.

«Я сам!» Мальчуган изо всех сил колошматил воду. Берег был далеко — много дальше, нежели показалось тебе с причала.

«Вода обожгла его...» — сколько раз читывал ты это! Чушь! Ничто не обожгло — заурядная холодная вода, не холоднее душа в бассейне.

Мальчишка оскорбился, когда ты схватил его за плечо. «Я сам», — отрывисто, зло: не мешайте! Ты невольно разжал пальцы. Может быть, пацан просто симулировал падение: до купального сезона еще далеко, а так охота побултыхаться в море! Не потому ли и устроили с дружкой возню на причале?

Независимо плыли вы параллельным курсом — как сейчас с Мотоциклетными Очками. Мотоциклетным Очкам, впрочем, далеко до паренька из Крыма. «Не устал?» Пацан не удостоил тебя ответом.

«Спасибо. У меня достаточно материала».

Снизу тренераша кажется еще больше — великан, у подножия которого копошатся букашки. С усилием загребаёт руками воздух — демонстрирует. Разноцветные шапочки дисциплинированно внимают.

Через год-два мальчуган даст тебе фору в плавании. Или уже? На тебе не было туфель и брюк, но не он, а ты стал первым малодушно нащупывать дно. Берег был совсем рядом, и ты решил, что встанешь на ноги. Под воду ушел — с головой.

«Я так испугалась вчера. Наверное, даже крикнула что-то — не помню. Решила, у тебя судорога. Когда ты нырнул вдруг, помнишь? Уже возле берега». Тебя удивили эти слова. О другом думает, казалось тебе, о своем — о Жаброве, которое после пышного юга покажется дырой, о вступительных экзаменах в институт — мало ли о чем! Ты не мешал ей. Все думали о своем, вся группа, измотанная субтропическими красотами. Экскурсовод хмуро поглядывал на шоссе — где автобус? Солнце к Ай-Петри сползло. Несло ацетоном: в здании общежития, приютившего вас на ночь, красили днем полы. Тебе было неловко, что вы вдвоем стоите у ржавых качелей отдельно от всех — мишенью для глаз, но ты упрямо подавлял в себе это чувство. Зато твою юную спугницу ничуть не трогало, что скажут о ней экскурсионные дамы. О своем думала — о Жаброве, казалось тебе, и вдруг: «Я так испугалась вчера. Решила, у тебя судорога». Ты ослабилась. «Мой организм не подвержен судорогам. Он чересчур груб для этого. Братец говорит, я напоминаю ему компьютер». «Компьютер» пропустила мимо ушей, а вот «братец» заинтересовал ее. Не брат, а братец. «Почему? Наверное, вы не очень дружите?» — «Очень дружим. Только он художник, а я экономист, и у меня нет творческого воображения. Все наследственное воображение досталось ему». — «А тебе что досталось?» — «Старая занудливая скряга, именуемая памятью. А еще молодая, но подающая надежды лысина». Тут она медленно повернулась и посмотрела на тебя так, что все сдвинулось в тебе и поплыло.

Солнечные лучи и много воздуха. Ты никогда не замечал, что так просто и прозрачно в бассейне. Что с тобой, Рябов? В тебе и сейчас смещается что-то. Таешь, как бело-розовая вата на деревянном поддоне. Пчела, запах мяса и раскаленных углей, снег на горах. Еще немного, и ты растворишься в воде.

Не плывешь — у бортика стоишь. Бассейн тебе по пояс. По телу струйками стекает вода — как быстро! Смех, всплески совсем рядом, и в то же время очень далеко отсюда. Солнце в высоком куполе. Красные, желтые, синие шапочки — кто сказал, что ты дальтоник? Щекотно и нежно растекается по языку искристая вата... В пятницу в Жаброво. Не в субботу, а в пятницу — день за свой счет.

«Ради бога, Станислав Максимович, хоть неделю. Да-да, хоть неделю. А что, вы творческий человек. Эта дверь всегда открыта для вас». «Разговор этот нельзя комкать. Потерпите до завтра».

Озираешься с изумлением. Что с тобой? Слово не существовал мгновение или два — вода, шапочки, солнце в стеклянном куполе, а тебя не было. Исчез...

«Разговор этот нельзя комкать». «Тогда завтра утром». Считаешь, не понял, что невтерпеж тебе? Простоватый, бесхитростный рубаха-директор... И ты веришь в это? Марго тоже просила зайти завтра. Случайное совпадение?

Успокойся, Рябов. Ты чересчур возбужден — мысли скачут. Окупись, вот так. Слишком теплая вода? Еще бы — после купания в апрельском море.

Трусы, прилипшие к телу, майка, носочки в клеточку. Гусь лапчатый. Люди кругом, но они не кричат «виват», они молча расступаются

перед тобой, и ты шествуешь, важный и голый, как Христос. Практичный южный мальчуган раскладывает на булыжнике мокрую одежду, затем стремглав мчится вдоль берега — греется. Не впервой, видать, сваливаться в море. «Часы! Ах, господи, часы забыли снять». Бежит секундная стрелка — а почему бы не бежать ей? ПЫЛЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, С АМОРТИЗАЦИОННЫМ УСТРОЙСТВОМ. Ты любишь добротные вещи, Рябов. «Вы — с ним?» А с кем же она, если в руках у нее твои портки и все прочее?

Как и предвидел ты, спеклись Мотоциклетные Очки — стоят, разинутым ртом дышат. Из белой двери выходит медсестра с никелированной жердью — ежечасная проба воды. Сдержанные, короткие шаги — помнит о мужчинах внизу. Взглядываешь на электрические часы — три минуты второго. Тренерша в красном с энергией пересекает рукой воздух: конец! На бортик высыпает разноцветные шапочки. Мокрые, блестящие тела. Все дергается, как у марионеток, — руки, ноги. Звон голосов. К выходу наперегонки! Мальчик с директорской фигурой шлепает отдельно — притомился. Желейное тело дрожит и лоснится — не помогают что-то сеансы плавания.

«Ряба ловит. Давай, Ряба, давай! Животик мешает? А ты подтяни». «Ну его! Какой интерес — он всю перемену проловит. Уходи, Рябов, ты не играешь. Сперва бегать научись».

«Я не буду есть». «Почему?» — интересуется мама, но без малейшей тревоги, что, признайся, тебя несколько задевает. Напрасно! Чего вдруг она должна переживать за тебя, если ты ни в чем не обманул ее взрослого доверия? Вот старший, тот преподносил ей подарок за подарочком — от лаконичного заявления, что не пойдет в школу, откуда математичка не извинится перед ним, до решения никогда в жизни не брать в рот сладкого, дабы наглядно доказать, что человек легко может обойтись без всех тех лакомств, ради которых мама подвижнически жертвует всем. Злая демонстрация! Могла ли мама не принимать близко к сердцу все эти фокусы, на которые с ранних лет был столь изобретателен братец! Несомненное и опасное сумасбродство заявляло о себе в полный голос, поэтому как же несправедлив ты был, подозревая маму в некоторой пристрастности к братцу за твой счет! Просто мама понимала, что если ее младший решил не есть, то не каприз и не смертная вражда с учительницей повинны тут, не бунт против десертной индустрии, которой сурово ограничивающая себя во всем мама посвятила жизнь (вот где ирония судьбы!), а нечто благоразумное. На спартанский рацион ты посадил себя — животик, однако, не спадал.

«Уматывай из класса. У нас разговор». — «Это моя парта». — «Что? Слышишь, Хлюпа, это его парта. Он хочет, чтобы с ним побеседовали. Сейчас или после уроков?» — «Брату побежит жаловаться. У него брат в седьмом классе».

За что не любили тебя? Первый ученик класса — за это? Но был еще один отличник, Вовка Шиндин, — с тем водились. Был еще один толстяк, Катков, — тот верховодил в классе. За что же тебя не любили? Задачи и те скрепя сердце давал списывать, хотя честно предупреждал, что никакой пользы от этого не будет. «Надо понять, как решается. Давай останемся после уроков, я объясню». Как наивен ты был!..

Четыре взмаха — воздух, четыре — воздух. Бортик, касание, упругий толчок ногами. Вытянув руки, лодочкой ладони сложив, скользишь мягко и стремительно. Кто поверит, что это тот самый толстяк Ряба, который за всю перемену никого не мог поймать?

«Кажется, ты что-то имел против меня?» — «Нет, ничего. Ничего я не имел». — «Да ну? А мне кажется — имел». — «Пустите меня! Мне домой надо». — «Больше тебе куда не надо?» Удар. Шапка в грязь летит. «Проси прощения». — «За что?» — «Проси прощения, тебе гово-

рят». — «Я не буду больше». — «Что ты не будешь?» — «Не знаю. Пустите меня». — «Что ты не будешь, тебя спрашивают». — «Вы же сами сказали: прощения проси». — «А за что? Если просишь, значит, сделал что-то». — «Ничего я не сделал». — «Хлюпа, врежь ему еще. Пожалуйста, Хлюпа». — «Пусть сперва шапку подымет. Подыми шапку. Пожалуйста». Ты знаешь, что если нагнешься за шапкой — ногой пнут, опрокинут в грязь, но ты согласен, пусть лучше грязь, лишь бы в лицо не били. Сейчас ты почти благодаришь их за жестокость. И ненавидишь, как же ненавидишь себя за это «больше не буду»!

Как ваше давление, Станислав Максимович? Старик, можешь рассчитывать на меня.. Большому кораблю — большое плавание.. Чепуха! Вы еще не квиты — ведь все это мелюзга, все это тетюнники да скачут-зайчики, все это только начало, но грядет, грядет час большой расплаты. Местью это не будет — не злорадство, а доброжелательность будет вечно сиять на твоём лице; просто восторжествует справедливость, как она торжествует всегда, что бы там ни канючили унылые неудачники. Она торжествует, только не надо тихо ждать ее в своем углу, уповая на господа бога, а смело шагать ей навстречу.

«Э, колобок, ты, видать, заблудился. Здесь боксом занимаются». — «Не заблудился». — «Неужели? А мама разрешила?» Изучающие глаза тренера. «Станислав Рябов?» — «Да». — «Ну-ка, возьми скакалку. Прыгай. Еще раз». «Ему ноги мешают, Александр Игнатьевич». «Вот что, Рябов. Придешь через три дня. В пятницу. За эти три дня научишься прыгать до пятидесяти. Пятьдесят раз подряд, понял?»

Четыре взмаха — воздух, четыре — воздух. А Мотоциклетные Очки все отдышаться не могут. «Главное на ринге — дыхание. Его, как бровь, надо беречь. Не как зеницу ока — как бровь, это важнее для боксера. У противника сбить, а свое беречь».

Раз, два, три, четыре — воздух; раз, два, три, четыре — воздух. «Раз-два, раз-два...» Скакалка путалась в ногах, ты падал. Репейник на брюках. Пустырь — вдали от глаз. Внимательная ворона на ржавом ведре без дна. Запах гашеной извести. Раз-два, раз-два... Когда вечером ложился в постель, кровать прыгала вместе с тобой — вверх-вниз, вверх-вниз. «Ну-ка, Рябов, покажи, чему научился за три дня». Замерший спортзал. Далекий визг трамвайных колес. Глаза — отовсюду. Бум, бум, бум — глухо, размеренно. Ступни окаменели. «Молодец!» «Семьдесят два раза, Александр Игнатьевич, я считал». Семьдесят четыре — ты тоже считал, но не проронил ни слова. «Будешь отличным боксером, Рябов. Отличным!»

Десять минут второго, передохни. Солнце в стеклянном куполе. В пятницу у нее рабочий день, как и у тебя, впрочем. «Я ждала тебя завтра». *«Извини, я репутал. Мама листок календаря сорвала преждевременно. Она передовик у меня.»*

Голос, поворачиваешься. Мотоциклетным Очкам поговорить вздумалось.

— Слишком теплая, говорю, вода. Двадцать четыре градуса.

Морж? Рекомендуешь море — там хорошо сейчас.

— Да нет, что вы! Рано еще.

— Вы полагаете?

— Уверен. А вы хорошо держитесь. У вас разряд?

«По плаванию — нет». «А по какому виду?» Хвостун.

— Увы!

— Но вы очень хорошо держитесь. Я наблюдал за вами.

Сделайте же и вы комплимент мне. Или не оценили до сих пор?

Тогда я еще продемонстрирую, смотрите.

Смотришь. Самоходная баржа. Колесо с лопастями и спортивным

тщеславием. Тихо на спину ложишься. Легкими квадратиками зарешечено синее небо.

«Александр Игнатьич... я решил оставить ринг». «Не понимаю». Удивлением и тревогой преобразено деформированное лицо. Рыжие жесткие усы — как две зубные щетки. «Не понимаю.— Он все понимал, но еще не верил в это.— Ты не хочешь со мной работать?» Вероятно, в глубине души он ждал от тебя подобного финта — слишком уж равнодушен ты был к спортивным триумфам. Да и что то за триумфы! — а кубка Вала Баркера тебе не видать. И все-таки он делал ставку на тебя, ибо кто как не ты был олицетворением того главного, без чего немислим бокс,— трудолюбия и беспощадности к себе? «Если б я остался на ринге, я работал бы только с вами. Вы знаете это, Александр Игнатьич. Всем, чего я достиг, я обязан вам». Кто обвинит тебя в неблагодарности? «Ты ничего еще не достиг! Ты ноль, пешка, груша для тренировок. Труд и беспощадность к себе — и я гарантирую тебе мастера». «Я не хочу мастера». Так рушатся иллюзии. Ученик, который мог прославить учителя. «Но почему? Я хочу знать: почему?» «*Просто я равнодушен к боксу. Я стал заниматься им в силу необходимости, но теперь я добился чего хотел*». Ты и не мог этого сказать — ведь даже на ринге ты славился корректностью. «У меня сложные семейные обстоятельства. И потом, я запустил с учебой. Второй курс». — «Значит, ты не навсегда уходишь? Когда все устроится...» — «Навсегда. Я вам очень благодарен, Александр Игнатьич. За все». — «Ты пожалеешь об этом. Ты крепко пожалеешь об этом, Станислав. Я никогда еще не ошибался, поверь мне». Стало быть, это первая ваша ошибка, тренер. В сорок с гаком — не так уж худо. Продержаться бы тебе до этого возраста!

Небо над стеклянной крышей, но солнца нет — за клочок облака спряталось. Что это было с тобой четверть часа назад? В Жаброво, немедленно, день за свой счет? Этак не протянешь без ошибок до сорока с гаком.

Переворачиваешься, плывешь к бортику. Вертикальная лесенка с тремя перекладинами. Тяжестью наливается тело. Благородная усталость. Спокойно ступаешь на сухой кафельный пол — заслужил право следить.

В душевой жарко, и влажно, и желто от электричества. Мотоциклетные Очки холят под душем распаренное тело. Нежно-розовый, в зеркальных бликах живот.

— Изумительно! Словно на свет заново родился.— Выполз из кабины, новорожденный. Выпуклые нежно-розовые глаза — два миниатюрных животика. Поворачиваешься спиной к нему, будто желая отрегулировать воду.— Всех своих друзей агитирую — не хотят. За справкой лень сходить...

— А может, очков нет?

— Что? А-а, очков. Нет, не поэтому. Очки купить можно. В любом спортивном магазине — пожалуйста. Не хотят просто. А ведь это так для здоровья полезно.

— Еще бы!

— Я третий раз сегодня. Между нами, я похудеть хочу, но вот взвешивался — пока ничего. Поправился на двести граммов.

Гмыкаешь. И двух недель не протянет, нет. Сегодня взвесился, завтра — и прощай бассейн, источник бодрости и здоровья.

«На предприятии вас встретят во всеоружии. Экспериментировали, скажут, очень даже, но, увы, никакого эффекта. Отсюда вывод: долой внутрихозяйственный расчет! Я бы сравнил такого руководителя с одним моим знакомым, который решил похудеть. Пришел в бассейн, поплескался полчаса, бегом на весы. Никакого эффекта».

Хороший пример для сегодняшней лекции. Ты приведешь его, говоря о выделении ремонтного хозяйства в самостоятельную службу — в учебнике сказано об этом невнятно и робко. Хозрасчет в ремонтных цехах! Кое-кто считает это делом далекого будущего; поразительно, что авторы учебника именно так ориентируют студента. Нечто вроде полета в соседнюю галактику — в принципе возможно, но не сейчас.

— Будете в среду? — интересуются Мотоциклетные Очки.

— Не знаю. Вряд ли.

— Ну, увидимся. Счастливо!

А душ кто будет закрывать?

— До свидания.

Еще холоднее, вот так. Ничего не забыли Очки, не вернутся? Ты бы не хотел, чтобы они видели, как печешься ты об общественном добре — голый, но высокосознательный. Закручиваешь краны — сперва в своей кабине, потом в соседней. Широкая натура у Мотоциклетных Очков — за чужой счет.

«На фабрике сдается дом. Твоя мать могла бы получить там квартиру, а эту нам оставить. Так все родители делают». Мама? Мама могла бы? Твоей супруге при всех ее добродетелях порой явно изменяет чувство реальности. Ты бы многое мог рассказать ей про свою маму — хотя бы о путевке, от которой она отказалась в пользу работницы из шоколадного цеха, но ведь это бахвальство — перевозносить собственную мать! Да и не приняты в вашей семье подобные речи. Вот разве что диктору прощаются они — большой милый ребенок, баловень дома.

Тишина. Абсолютная тишина — мертвый час на плавательном предприятии. Вытираешься. Откуда взялось на пляже полотенце в некупальный сезон? Народ заботится о своих героях. «Мунутку, граждане! Минутку.— Моя милиция меня бережет.— Ваша фамилия, гражданин?» Карандаш наготове — народ должен знать своих героев. «Никифор,— юродствуешь ты.— Панюшкин. Студент из Бахчисарая».

А майка и трусы, которые ты натягиваешь сейчас на раскрасневшееся тело, приобретены ею. «Вы с ним? Вон палатка, видите? Там можно белье купить».

Ты был надежно огорожен кабинкой с выразительными рисуночками внутри, но растрепанная петушиная голова торчала над этим оплотом целомудрия. Ты дурашливо улыбался и никак не мог приступить к делу. Она поняла и отвернулась. Благодарный, энергично стянул с себя мокрые трусы, положил их вместе с майкой на угол кабины. Она спокойно взяла их и пошла к морю — полоскать...

Солнце в стеклянном куполе. Красные, синие, желтые шапочки. Ты есть и тебя нету — таешь, как сахарная вата. Ну, Рябов!

7

— Прошу прощения.— Братец? Аудитория дружно поворачивается к двери.— Разрешите, Станислав Максимович?

Такого он еще не откалывал. Пожимаешь плечами:

— Пожалуйста.

Кажется, трезв — и на том спасибо. Близоруко сузив глаза, обводит взглядом аудиторию — место ищет. Борода а-ля Хемингуэй. Грубошерстный черный свитер под подбородок — цитата из того же источника. За кого приняли его студенты?

Помешкав, пристраивается за вторым столом — сзади все занято.

На чем ты остановился?

«Повышение производительности труда жестко связано с ростом оборудования и его более интенсивной эксплуатацией. Как следствие

этого увеличивается доля ремонтных рабочих, что неминуемо снижает производительность труда...»

Пришел на день рождения звать. Или пятерку перехватить до четырнадцатого.

«Возьми, но ты обратил внимание на странное совпадение: мы никогда не видимся с тобой по четырнадцатым числам?» Братец полагает, что за ненадобностью ты складываешь ассигнации ровными пачками в ящик для белья.

— На первый взгляд мы зашли в тупик, из которого нет выхода. Но выход есть, причем я не имею в виду метод поузлового ремонта и уж тем более стендового. Методы эти прогрессивны, но мы еще недостаточно богаты, чтобы внедрять их, так сказать, массовым тиражом. Оборудования не хватает, это наше узкое место, и, по-видимому, в ближайшие годы — самые ближайшие — мы эту проблему не решим. Как быть? Нельзя ли повысить производительность ремонтных работ без дополнительных капложений? Как в цирке: ничего — и вдруг курица. Из воздуха. Можно! И секрет тут прост: централизация ремонтного хозяйства.

Исподволь задеваешь братца взглядом. Преувеличенно сосредоточенное лицо, складка между бровями. Видишь, с каким уважительным интересом внимаю я тебе, мой младший брат? Хотя, если начистоту, ни черта-то не смыслю я во всей этой галиматье. Но ради нашего семейного престижа я обязан до конца выдержать роль. Оцени и подкинь пятерку до четырнадцатого.

— Вы думаете, начальники цехов с восторгом примут идею централизации? Вряд ли. Они будут отмахиваться от нее руками и ногами. Посудите сами. Сейчас все ремонтники у начальника в кармане, он распоряжается ими как бог на душу положит. Аврал с планом — на аврал, нужно достать что-то в соседней области — в соседнюю область толкачом. При централизации это исключено. Необходим ремонт — будь добр, пиши заявку главному механику, тот выделит тебе людей, и ты заплатишь за все по счету, копейка в копейку. Строгий внутривозвратный расчет — без этого централизация ремонтной службы теряет всякий смысл.

Самый раз привести пример с бассейном, но ты мешкаешь. Вдруг братец поморщится — это волнует тебя?

«Все плаваешь? Хочешь жить долго? Ну-ну... Шатун тоже хотел, за бутылкою побежал, да взял и окочурился».

Потому и окочурился, что за бутылкой. И не одну ведь, не две — сколько вылакал их за свою жизнь! — а когда пожелтели глаза и отвезли в больницу, где и суток не протянул, ахнули: вчера ходил еще!

«Не пьешь, не куришь, в бассейне купаешься. Не изменяешь жене. Хоть бы один недостаток — все достоинства!» Братец устроил процесс над тобой, узурпировав права обвинителя. На каком основании, интересно знать?

«Камень преткновения при хозрасчете в ремонтных цехах — учет...» Сказал или только собирался? Сосредоточься, отложи свой бунт против братца хотя бы до конца лекции. «Учебник рекомендует систему внутривозвратных цен, но на практике этот способ не оправдал себя...» Нельзя так. Ты помнишь, что значил для тебя учебник в студенческие годы?

— Кое-кто считает возможным оценивать объем работы по плановым ценам. Теоретически это выглядит весьма привлекательно, но попробуйте осуществить такой учет на практике. Он сложен и трудоемок, поскольку требует различных оценок одних и тех же объектов. Более прост котловой способ, о котором мы уже говорили, но при нем невозможно установить, чем вызваны те или иные перерасходы. Уже одно

это обстоятельство исключает использование котлового способа при хозрасчете.

Семь минут, успеешь. Но ведь ты еще собирался вычертить на доске схему позаказно-нормативного учета. Необязательно. Если принцип поймут — схему сами составят.

...Звонки, но никто не встает, ждут, пока закончишь. Доволен? Продемонстрировал братцу власть над аудиторией?

— При определении фактической цеховой себестоимости общезаводские расходы не раскидываются механически по цехам. Если, скажем, завод уплатил неустойку, то выясняются виновники и сумма штрафа целиком ложится на этот цех.

— А если виновны несколько цехов?

Вопрос после звонка — лучший дифирамб лекции.

— Тогда на несколько цехов.— Смеешься, разводишь руками: это же так просто!

Поднявшись, к выходу течет аудитория. Медлишь, пропуская студентов. На братца не глядишь, но каким-то образом угадываешь, что свитер а-ля Хемингуэй тоже плывет к двери. Аудитория — не место для личных разговоров. Тактичность прорезалась в братце в канун тридцатилетия.

«Так ты в Крыму был? Один?» «Почему — один? Без жены, но это не значит, что один. Крым, знаешь, не слишком располагает к одиночеству». Для чего? Кассационная жалоба на обвинительный приговор братца? «Не пьешь, не куришь, не изменяешь жене».

Ждет в коридоре у окна. Приближаешься, растянув рот в улыбке.

— Благодарю. Ты очень мило держал себя.— Весенний свет слепит тебя, и ты не слишком хорошо различаешь лицо брата.

— Я не должен был заходить? — Кажется, потяжелел взгляд.

— Напротив. Спасибо за посещение! — Становишься боком к окну. Что с тобой, Рябов? Неужто волнуешься? Неужто так важно тебе его мнение о лекции — мнение человека, который ни черта не смыслит в экономических вопросах?

— Давно мечтал увидеть тебя в этой роли.— Пристальный, с хитринкой взгляд: я насквозь вижу тебя, мой милый, — тебе не терпится узнать, что думаю я о твоей лекции.

Ничуть не бывало! И вот доказательство, которое ты с ухмылочкой предъявляешь:

— Ну и как? — Теперь видишь, сколь безразличен я к твоему мнению, если так откровенно спрашиваю о нем.

— Отлично,— не спуская с тебя взгляда, отвечает братец.— Как все, что ты делаешь.

Скалишь зубы.

— Я ведь не претендую на большое.

Широкое лицо каменеет. Молча и медленно отделяется от окна. Следуешь рядом.

Намек на несостоявшуюся карьеру художника усмотрел братец в твоих словах? Или это ты и имел в виду?

— Сюда,— подсказываешь ты, ибо, кажется, братец намерен проследовать мимо лестницы.

«Хотя я и твоя мать, я не собираюсь, да и не имею права принуждать тебя. Ты бросил институт, поскольку быть преподавателем черчения не прельщает тебя. Что ж, это твое дело. Возможно, у тебя есть талант художника, я не разбираюсь в этом, но я знаю другое. Жить, не служа обществу, то есть не работая, имеют право лишь инвалиды, старики и дети.— «Я работаю с утра до вечера».— «Но если общество не оплачивает твой труд, значит, оно не нуждается в нем».— «В Ван Гоге оно тоже не нуждалось. За всю жизнь он продал лишь одну картину».—

«Ты берешь от общества все, взамен ему не давая ничего». — «Ты хочешь сказать, я у тебя беру все? Хорошо, больше не буду».

Хлеб, сгущенка, чай. Разгрузка вагонов — раз в неделю. Хлеб, чай, маргарин. «Спасибо, я сыт». Глаза опущены. Длинные вздрагивающие ресницы. «Не хочу, я уже завтракал».

Поворачиваешь голову. Грузно спускается, не касаясь перил, — ступенька за ступенькой. Пожалуй, лишь это и осталось в нем без изменений — длинные, как у ребенка, ресницы.

— Пардон! Оденусь только.

Ни слова в ответ и даже размеренного шага не замедляет — простить не может «претензии на большое»? А вот твоя нехудожественная натура безропотно сносит его затянувшееся обвинение. В ранг высшей судебной инстанции возводят себя неудачники: мы честны и бескорыстны — именно потому ничего и не добились в жизни. Логика лентяев!

Никого на кафедре, лишь лаборантка Нина грустно зябнет у окна, за которым капель и солнце. Но сюда не проникает весна, здесь тихо, пасмурно и пахнет валокордином.

Пузырек в маленькой твердой руке директора кондитерской фабрики. Отвернувшись к окну, капли считает — беззвучно, выцветшими глазами. «Ты переутомляешься, Шура. Так нельзя. — Всерьез озабочен здоровьем жены диктор областного радио. — Счастье — понятие отрицательное. Отсутствие болезней и угрызений совести. Так Толстой считал». «Нет, Максим, это понятие положительное. Налей мне воды».

Угрызения совести... Маме неизвестно, что это такое. Мама не рефлекситрует. Компромисс и мама — понятия несовместимые. И тем не менее дай бог тебе так твердо стоять на ногах, как стоит директор лучшей в зоне кондитерской фабрики. А цена? Цена, спрашиваешь ты. Гипертонические кризы... Впрочем, еще неизвестно, фабрика ли довела до них своего директора, сумасбродства ли первенца. Попробуй вынести, обладай ты хоть какой волей, если твоя кровинушка, плоть от плоти твоей, изматывает себя непосильным трудом на железнодорожных станциях, а все питание — хлеб с маргарином!

— Видели Архипенко? — Рукой придерживает на груди пуховый платок.

— Увы! И сегодня уже не увижу.

Как отражение в воде, зыбко и прозрачно бледное лицо. Станислав Максимович! Я не имею права задерживать вас, но вы так нужны ему. *«Серьезно? Передайте ему, что до декабря я не собираюсь за границу. А дома у меня нет марок».*

— Он ждал вас. Хотел с вами часами поменяться.

— Филателистические замашки.— Снимаешь пальто с вешалки.— Баш на баш?

Не забыть надеть завтра шарф Марго. «Чтобы сделать удачный подарок, надо любить этого человека». Излишне обобщаете, тетя. Марго преисполнена ко мне материнских чувств, но посмотрите на этот шарф!

— Ему понедельник нужен.

Кому, Архипенко?

— Понедельники всем нужны.

Не пригласит на день рождения — явишься сам, плотно закутав профессорским шарфом израненное самолюбие. Должен же присутствовать кто-то из семейного клана!

— Уступите ему, Станислав Максимович. У него неприятности.

— Бедный доцент! А если я поменяюсь с ним часами, неприятности исчезнут?

Слабая улыбка. Все шутите, Станислав Максимович!

— Жена на него жалобу написала. В па́ртком.

В удивлении замирают твои бегущие по пуговицам пальцы. Полный, тихий, с печальными залысинами. Читая лекции, ни на мгновение не отрывая от конспекта выпуклых очков.

— За что? Зарплату пропивает?

«Станислав Максимович... Вы меня извините. Если вам представится возможность, привезите из Югославии марок...»

— Вы разве не знаете? — недоуменно изогнулись над небесными глазами тонкие брови. — Он на нашей студентке женился.

Мешковатый костюм, грязью обрызганы стоптанные башмаки. «Расскажите о Югославии. — За толстыми стеклами выпученные скорбные глаза. — На Адриатическом побережье были? Это, должно быть, изумительно».

— Лихо!

— Она на пятом курсе учится. Кончает в этом году.

Ярко-красные губы на полном лице. Животик. Сорок? Сорок пять?

— Любви все возрасты покорны. Потомство есть у него?

— Сын. В армии служит.

«Спасибо за марки. Очень ценные. Я не знаю... Мне стыдно предлагать вам деньги. Может быть, я смогу что-нибудь сделать для вас?»

— А она? Его юная супруга?

— Ее я мало знаю. Она на технологическом. У нее преддипломная сейчас.

Гмыкаешь.

— Красивая дама?

Слабо пожимает плечами под пуховым платком. Худое болезненное лицо. Ты хам, Рябов, — ей ты не имеешь права задавать такие вопросы.

— Ничего... У нее диабет, говорят.

«Я так испугалась за тебя. Решила, у тебя судорога».

— Кажется, в мае переизбрание?

...Объявляется конкурс на замещение вакантной должности...

— В том-то и дело. Полтора месяца осталось.

Сострадание в голосе: переживаю я за него, Станислав Максимович, хороший он человек, доцент Архипенко.

Полтора месяца... Неужто подождать не мог?

— Страсть овладела человеком. — Протягиваешь руку, чтобы снять с вешалки мохеровую шапку — гордость твоего гардероба. Но, оказывается, она на голове уже. — Роковая любовь.

— Он очень порядочный. — Печальны небесные глаза. — Я прошу вас, Станислав Максимович.

— Ну, раз порядочный, пусть берет мой понедельник. Это ведь один раз только? Он больше не собирается жениться?

— Нет. — По-птичьему склоняет набок простоволосую голову. Шутник вы, Станислав Максимович. Но я знаю, вы добрый. — На среду или на пятницу? Когда вас больше устраивает?

Пятница... Что-то было у тебя в пятницу.

Солнце в стеклянном куполе. Разноцветные шапочки. Тасшь, как сахарная вата. Не в субботу в Жаброво — в пятницу, день за свой счет. Глупости!

— Мне все равно. Узнайте, когда ему удобнее, — я позвоню.

— Спасибо. — Благодарность в светлых глазах.

— Привет! Передавайте доценту Архипенко мои поздравления.

Улыбается, кутает плечи в пуховый платок. «Слышали? Профессор Александр женится на лаборантке Нине с кафедры экономики».

Быстро идешь по коридору, в окна глядишь — в одно, другое. Братец где?

«Важные дела задержали?» Злые сузившиеся глаза. Под бородой желваки ходят.

Студенты с непокрытыми головами — поодиночке, группами. А брата не видать. Ушел? «Я не хочу, чтобы мне дважды повторяли, что я ем чужой хлеб».

«Послушай, старик, так нельзя. Я говорю сейчас с тобой не как отец — как товарищ. Как мужчина с женщиной». — «Не надо, папа. Я знаю, что ты хочешь сказать. Прекрати комедию и ешь с нами — так ведь?» — «Ты огрубляешь. Жизнь сложна и причудлива...» — «Я все понимаю, папа. Пусть это комедия, но я не желаю, чтобы мне дважды повторяли, что я ем чужой хлеб». — «Мать не так сказала». — «На тебя я не сержусь, отец. Ты добрый малый и мой товарищ по несчастью. Пошли замажем! Мы вчера втроем разгрузили вагон — у меня чемодан денег».

Стоит у дерева, курит, глядя перед собой. Кажется, ты преувеличил его самолюбие. Разве он уйдет, если ты нужен ему? «Дед, я знаю, я должен тебе кучу денег, и мне страшно неудобно снова просить, но... пятачку, до четырнадцатого».

Бесшумны твои замшевые туфли на толстом каучуке. Тихо оставиваешься рядом. Забыто дымится сигарета, взгляд неподвижен. Что приковало его? Спекшийся грязный снег — останки снежного человека, месяц назад возведенного на перемене двадцатилетними дитя-тями?

Сооружение из планок и вошеной бумаги — в центре комнаты на месте мольберта. «Что это?» «Не узнаешь? — Улыбка гения, сотворившего шедевр. — Змей». «И что он здесь делает? Позирует тебе?» — «К старту готовится. В субботу первое испытание. „ТАИТИ-1“». — «Что олицетворяет это название?» — «Остров, на котором жил Гоген». — «А! Он что, тоже змеев строил? Гоген?» — «Гоген был великим художником».

Вздрагивает, поворачивается, хотя, кажется, ты не произвел ни звука. Воспаленные глаза.

— Освободился? — Голос глух.

— Я — да. — «А ты? Обдумываешь картину под названием «Агония зимы?»» — Но я могу подождать. — Простодушно улыбаешься.

Молчит, тушит сигарету о дерево — та сыро шипит. Рядышком идете. Потертое холодное пальто — и зимнее и демисезонное одновременно. Плащ и по совместительству шуба. «Чтобы сделать хороший подарок, надо любить этого человека. Позвони мне сегодня после трех».

На улицу выходите с институтского двора. Капает с крыш на универсальное пальто брата, на обнаженную голову — но что ему подобные пустяки? О судьбах мира мыслит.

Ну нет, пальто — слишком. Покушение на семейный бюджет, оплот любви и взаимопонимания.

«Расскажите мне о Югославии, Станислав Максимович. На Адриатике были? Это, должно быть, изумительно». Вытаращенные детские глаза за стеклами очков. Ты так и не узнал, сколько ему лет. «Сын в армии служит». Сорок пять, не меньше.

Клокочущий мутный поток устремляется в решетку на мостовой. Выбрызгивая фонтаны из-под колес, проносится «Волга». Девочки взвизгивают — преувеличенно громко, чтобы мир знал: вот они! Отскакивают, придерживая подошвы руками. У тебя рот до ушей, братец же наблюдает молча и опытно. Закуривает.

«Поздравляю. Первый солнечный день, а ты уже загорел. Не в Крыму ли?» — «Именно там. Южный берег». — «У тебя условный рефлекс — во всем первым быть. Даже в загаре». Что ж, ты примешь

это как должное. Как справедливое возмездие за «не претендую на большое».

Замечательное изобретение — табак. Смотри, какой глубокий смысл придает сигарета его долгому молчанию. Твое же выглядит невежливым и глупым.

Темная кухня, окно. Отблеск фары на черных стеклах соседнего дома. Усмехаешься.

— Вчера я пожалел, что не курю.

Первым таки нарушил молчание. Условный рефлекс — во всем первым быть.

Брат поворачивает голову на короткой шее — тяжело и отрешенно. В каких высоких сферах витали его мысли? Позабыл, должно быть, что ты рядом, и теперь это неприятно удивило его.

— В чем же дело? Кури.

«Случилось что-нибудь?» — «У меня? Напротив, все отлично. В Крыму был — субботу и воскресенье. Прекрасно провел время». — «Один?» — «Что?» — «В Крыму, говорю, один был? Без супруги?» — «Без, но... но не совсем один».

Среди луж и сырости проталины сухого тротуара — солнце выпарило. Ты аккуратно ступаешь по ним, братец же в своих потрескавшихся кораблях шпарит напропалую. Плотно сжатый рот, ноздри широкого носа ритмично раздуваются. «Разрешите, Станислав Максимович?» Смирение и учтивость. И получасу не прошло, а от Хемингуэя, который весело вошел в аудиторию, не осталось и следа. Резкие перепады настроения — признак природы нервной и тонкой. Восхитись же, Рябов-младший, восхитись, книжный червь! — тебе недоступны ни эти стремительные взлеты, ни бездонные падения, от коих захватывает дух.

— Чему смеешься? — подозрительно-мрачно.

— Я? — Всего лишь неосторожно гмыкнул, а братец из-за своей обостренной восприимчивости — еще одно свидетельство природы нервной и тонкой — принял это на свой счет. — Весна! Весной пахнет.

Солнце мокро поблескивает в густых длинных волосах — следы капли. Не ранняя ли седина укрепила природную неприязнь братца к головным уборам?

— Ты свободен вечером?

«Тогда приходи в семь к Тамаре».

— Завтра?

— Сегодня. Сейчас. — Неудовольствие: братец не любит, когда его не понимают с полуслова.

«Я тебе нужен?» — «Надо поговорить». — «Слушаю». — «Ну не здесь же...» В кафе, за бутылкой шампанского. Иная обстановка не располагает художника к откровенности.

Новая женитьба? Крупная сумма денег — не до четырнадцатого, бессрочно? «Не беспокойся, я отдам. Я все свои долги записываю». Где, интересно? Не на чистом ли холсте — перед тем как класть на него краски?

«Я хотел у тебя узнать... Если я приглашу на завтра стариков, они пойдут? Вернее, если ты пригласишь их от моего имени?»

Будь реалистом, Рябов! — этого тебе не услышать никогда.

«Не волнуйся, мама, я больше не переступлю порога этого дома. Этого склепа. Домá для живых, мертвецы же обитают в склепах». Ни слова не проронила в ответ мама, лишь выше подняла голову, но то был не жест гордости — другое, и тщетно пыталась многоопытный администратор закамуфлировать это надменностью, которой в ней отродясь не водилось.

— Есть женщина, которая хочет познакомиться с тобой. — Сухо и в лоб. Очередная попытка братца подорвать твою нравственность?

— Ей понравился мой профиль?

«Хотите, я познакомлю вас с моим младшим братом? Кандидат наук, известный экономист, читает лекции в политехническом, автор блистательных статей, остроумен, щедр, прекрасно воспитан, одевается по последней моде, чемпион области по боксу, и при всем том ему еще нет тридцати».

— Который час? — Размеренная твердая походка. Я помню, что часы на руке, но я слишком погружен в размышления, чтобы отрываться и смотреть.

— Двадцать две минуты пятого. — Ты предельно точен.

«Между прочим, в субботу я опять еду на экскурсию». — «Куда?» — «В Жаброво. Есть такая точка на карте».

— Я должен позвонить до пяти. Если вечер у тебя свободен.

— Позвони, — разрешаешь ты. Почему бы и нет?

Вторник, среда, четверг, пятница... Ты распутник, Рябов.

— Я вчера из Крыма прилетел.

Повернувшись, прошупывает тебя взглядом — будто все, что ты делаешь, нечисто и он, твой старший брат, видит тебя насквозь.

— Командировка?

— Экскурсия. Самолет — автобус — самолет. Пользуйтесь услугами Аэрофлота!

Почему — распутник? Ты ведь знаешь, что ничего не будет между тобой и женщиной, которой понравился твой профиль. *«Пardon, но я уже занят. Меня ждут».* — *«Где, позвольте узнать?»* — *«В Жаброво. Есть такая точка на карте».* И тем не менее ты пойдешь с братцем. Ты ничего не станешь добиваться — если угодно, пусть добиваются тебя. Элегантен и неприступен будешь ты. Не надеть ли тебе лайковые перчатки, Рябов?

— Ларка тоже ездила?

Оскаливаешься.

— Зачем?

Глаза чуть сужаются, а под ними — мешки. Припухли и слизисто блестят толстые веки. Валидол в кармане.

— Ломаю голову, что преподнести тебе завтра. Тамара нынче утром прочла мне на эту тему популярную лекцию.

Ах, как непринужден и беспечен ты! Хемингуэй заинтригованно вглядывается в тебя: что с его братом?

«Станислав! Ты нетрезв?» Полночь, нетронутый кефир с крапинками влаги, мама в стеганом халате. Кто посмел совратить моего ребенка? «Дыхнуть, мама?»

— Когда ты был у Тамары?

— Я же говорю: сегодня утром.

Не витают больше мысли братца — здесь они, на земле, рядом с тобою.

— До работы, что ли?

— Лужа, — говоришь ты и показываешь глазами.

Хемингуэй игнорирует предупреждение. Экая важность, лужа! С младшим братом что? — вот главное. Настойчив и остр его взгляд. Ты дурашливо улыбаешься. Воспаленные глаза еще сужаются. Добрый смех сбегает по добрым морщинкам в добрую бороду.

— Ты с кем ездил?

Озарение художника. Вот таким я тебя люблю, проказник! Люблю и благословляю как старший брат. Наконец-то нарушил обет верности!

Лицо твоё плывет, как масло на сковородке.

— Один.

Разумеется, он не верит тебе. У тебя отличный брат, капитан!

— Ты вчера прилетел? — Сопоставляет и высчитывает. Неужели? Стало быть, и ты — по моим стопам! Давно пора.

— В двадцать два тридцать. Время московское.

Ты весь как на ладони. Не угодно ли спросить еще что? Угодно, но зачем, я и так все понимаю. Я ведь художник, а творческие натуры — люди пронизательные.

Телефон-автомат. Свежевыкрашен — весна.

— Так я звоню?

— Разумеется! — С полуслова понимаете друг друга — как никогда.

Шаришь по карманам в поисках двушки. Брат ждет, удерживая расплывающиеся довольные губы, а когда протягиваешь монету — не берет, молча отворяет дверь кабины.

— Осторожно, — предупреждаешь ты, веселясь. — Окрашено.

Через плечо выглядывает на тебя. Это ты мне говоришь, что окрашено? Художнику? Но тоже весело — красно-синий мячик летает между вами, кружась. Журчит вода, девушки смеются, в доме напротив распахнуты окна. Солнечный блеск стекол. Гудки машин, где-то наяривает музыка. Солнце в стеклянном куполе, разноцветные шапочки — синие, красные, желтые. По телу вода стекает. Ты есть и тебя нету. Нечто бело-розовое искрится, тает, щекотно и нежно растекается по горячему языку. Запах углей и жареного мяса. В вышине горы белеют.

Растрепанная записная книжка. Мусоля палец, переворачивает разбухшие страницы. Заботливо прикрываешь дверь кабины. Набирает номер. Предельно собрано бородатое лицо, словно цифры, которые он трогает толстым пальцем, — живые существа.

Полумрак зимнего вечера, пылающая плита, отблески огня на красном лице мальчика. Откинув голову — жаром пышет плита, — мешает вытянутой голый рукой в алюминиевой кастрюле. На узкой кушетке — его младший брат, укрыт ватным одеялом. Почему, больной, лежишь не в комнате, а на кухне? Теплее? Или не хотел оставаться один, пока старший подогревает жидкую манную кашу? Горло заматано чем-то колючим и жарким, глазам больно, а в теле озноб. Тяжело прикрываешь горячие веки. Дрова трещат. Известью пахнут свежевыбеленные стены.

Набрал номер, ждет, сдвинув брови, одна опалена. Что-то долго не отвечают, но тебя не волнует это. Нынче вечером собирался прочесть наконец брошюру Александрова. «Станиславу Рябову от автора, который глубоко верит в ваш мощный и мужественный талант».

«Вы слышали, профессор Александров женится на лаборантке Нине». Еще немного, и ты поверишь в этот бред.

«Сын в армии служит». Детские вытаращенные глаза за толстыми стеклами. «Нудный, как доцент Архипенко». Кажется, ты готов пересмотреть свое отношение к доценту?..

Ответили. Складка между бровями углубляется, борода вскинута — Андрей Рябов разговаривает с женщиной.

Странник с посохом, за спиной — мольберт, высокомерно оглядывает двоих, что приветствуют его смиренно и почтительно. Вызывающе задрана острая бородка. Лишь его фигура смеет отбрасывать тень — двое других и собака не удостоены этой чести. Великий человек перед ними!

Братец не забрал с собой эту репродукцию — с год еще висела над бывшей его кроватью, до первого ремонта.

Переговоры затягиваются. Отворячиваешься — для тебя это не

столь важно. «ПЕЙТЕ ТОМАТНЫЙ СОК!» Белозубая девица во всю стену с красным бокалом в руке. Работа братца? «Впечатляющая вещь. Правда, лично я никогда не пил томатный сок из бокала. Или вы таким образом рекламируете заодно и шампанское?» Не надо! Будь великодушен — он твой брат, он заботится о твоём досуге и к тому же завтра ему исполняется тридцать. Нужно щадить самолюбие творческого человека.

«Здравствуйте, господин Курбе!» — так называлась репродукция. В страннике с посохом художник изобразил себя — надо думать, он не страдал гипертрофированной скромностью. Лишь пес глядит на него без должного подобострастия — вот что значит не разбираться в живописи!

— Все о'кей!

У братца приподнятое настроение — не портить его томатным соком в бокале. Он отпустил тебе твои грехи — вернее, ты сам искупил их своей крымской фривольностью.

— Куда пойдем? У меня двадцать рублей с собой...

— У меня есть деньги.

Что? Скорей сгони удивление со своего вытянувшегося лица, сделай вид, что не произошло ничего сверхъестественного.

— Как зовут мою даму?

— Лариса. Немецкий язык в школе преподает.

— Удобное совпадение.

Братец не сразу понимает тебя.

— А, тезки. Она знает, что ты вчера должен приехать?

Теперь ты не понимаешь.

— Я и приехал вчера.

— А она знает? Или ты так и сказал, что у Тамары ночевал?

Вот за что отпущены тебе твои грехи! Братец переоценил твои способности.

— Я не ночевал у Тамары. — Почти каешься, но у тебя есть смягчающее обстоятельство. — У нее другой человек ночевал.

Воспаленные глаза глядят на тебя серьезно и с недоумением, твои же невинны, как голуби.

— Куда мы идем? — интересуешься ты.

Бабушка в длинном, до пят пальто продает подснежники. Ласково ловит взгляд — почему твой, а не твоего импозантного спутника? Ты жизнерадостно глядишь сквозь нее.

— У Тамары был кто-то?

— У Тамары никого не было. Но это мы исправили. Я попросил ее приютить на ночь одну мою знакомую. Так куда мы идем сейчас?

Почему-то на твой лоб смотрит братец. Ощеривается. Мелкие попорченные зубы. Как низко пал ты в его глазах!

— Мы ко мне идем. Мне переодеться надо.

А я-то думал, ты стал наконец мужчиной! Обрадовался. Ни на что ты не способен, братишка, кроме как считать коэффициенты. Жаль, жаль. Очень жаль мне тебя.

— Там плакат висит: пейте томатный сок. Между прочим, он возбуждал во мне жажду. Сок в бокале! Стакан показался художнику прозаичным?

Мелочишься, Рябов. Не стыдно?

— Это где мы звонили? — Рассеянно. — Дикая мазня! Я говорил на собрании.

Гмыкнув, с возросшей бдительностью выбираешь каучуковой подошвой сухие островки на асфальте.

Грязным дерматином обита дверь, из дырок и дырочек лезет пакля. Братец сопит и шарит по карманам. Ключ — символ суверенности. «Для меня главное — отдельный вход. И еще свет, конечно». Два неперемennых условия, предъявляемых им к своей берлоге. Художник — существо вольное. Кто смеет посягать на его право возвращаться домой когда и с кем угодно?

— Входи.

Полумрак. В нос кисло шибает запах мокнувшего белья. Старательно вытираешь ноги о бывшие штаны. Облезлый рукомойник, под ним широкий цинковый таз. В мыльной воде плавают выжатая лимонная долька. Чистое ведро на табурете прикрито задубевшим холстом. Почему бельем пахнет? Насколько ты помнишь, у брата никогда не было прачечных склонностей. Кособокий веник, дрова, блюдец с молоком.

— Еж все еще живет у тебя?

Тетюньки уподобляешься, демонстрируя знание подробностей? Год не навещал брата, но ведь это ерунда, раз ты помнишь все.

— Егор Иванович? — А вот имя запомнил. — Скрипим помаленьку.

Сует ногу под табурет — хочет представить тебя Егору Ивановичу? Звяканьем откликается подтабуретное пространство. Бутылки? НЗ на случай суровых времен?

Распахивает дверь в комнату. Яркий дневной свет. Много воздуха, плавательные дорожки, тренерша в красном костюме с белой полосой. Гора холстов на массивном гардеробе — отвергнутые шедевры. Краской пахнет.

Ржавые качели. Группа утомленно порасселась на низких длинных скамейках, экскурсовод не спускает глаз с шоссе — где автобус? Окна общежития, приютившего вас на ночь, распахнуты: полы красят. Ты и девочка из Жаброва стоите в стороне, отдельно от всех. Что-то неприятное было там. Что?

— Проходи.

Диван с неприбранной постелью. Древесным жучком изъеден стол, но зато — старинный, на гнутых ножках; с размахом, надо думать, жили люди. «Он изобретатель. Самоучка, семь классов образования, но голова — золотая». Нет, это на предыдущей квартире. О нынешних хозяевах ты не слыхал ни слова.

Модель крейсера на тумбочке. Пылью покрылась полировка.

— Что не раздеваешься?

Снимаешь пальто, оглядываешься, ища вешалку. «ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА». Какой странный вид у стюардессы! Эскиз рекламы? Братец берет у тебя пальто, уважительно вешает на гвоздь, вколоченный в боковину шкафа. Свое на диван бросает.

— Садись.

Мешкаешь — краской заляпан канцелярский стул с ободранной спинкой. Улучив момент, рукой проводишь по сиденью. Устраиваешься на краешке.

Блеклая мимоза в бутылке из-под молока — забытый неким посторонним лицом знак мужского внимания. Живописный творческий беспорядок — посторонних лиц, надо полагать, он тонизирует.

Запах краски поослаб. Или привыкать начинаешь?

Что неприятного было там? «А тебе? Что достало тебе?» «Старая занудливая скряга, именуемая памятью, а еще молодая, но подающая надежды лысина». Медленно поворачивается, смотрит так, что все сдвигается в тебе и плывет — вниз, вбок... И все-таки что-то неприятное было.

Книга на столе — «ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ». Открываешь наугад. Четыре коричневые женщины в неестественных позах, в нелепом одеянии, на фоне расплывчатых пятен, означающих, по всей видимости, кусты и деревья. Груды обвисли, лица топорные и бесстыдные. И это тоже нравится брату? Лично ты предпочитаешь «Боярыню Морозову» Сурикова.

— Пиво будешь?

Два граненых стакана, на вид — чистые.

— Если угостишь.— Не прозвучало ли обреченности в твоём голосе?

Бутылка без этикетки. О стул открывает. Легкий сизый дымок — симптом свежести или наоборот? Профан ты в пиве, Рябов!

Вот что было там неприятным — вся группа вместе, а вы в стороне, у ржавых качелей, обособленно от остальных. Спиною, всем телом ощущаю на себе насмешливые взгляды. Ей же — хоть бы хны, и это придавало тебе мужества. Скалил зубы, беспечно рассуждая о чем-то, а сам напряженно прислушивался: не идет ли автобус? Это-то и было неприятным. Какая разница, что подумают о тебе люди, которых ты никогда не увидишь больше! К свободомыслию располагает жилище брата.

Тебе льет? Еще немного, и пена полезет через край. Не останавливай, пусть! Вылакаешь до дна, показав себя удалым парнем. Ковбоем с Дикого Запада... Лариса, немецкий преподает. Что ж, ты не так уж плохо владеешь этим языком. Сдавая минимум, единственный из всех аспирантов обошелся без единого русского слова.

Братец залпом осушает стакан. Полуприкрытые глаза, длинные, очень длинные ресницы, слегка загнутые на конце. Кадык ходит под задранной бородой. Бр-р! Не подавая виду, старательно дуешь на пену, ждешь, пока осядет. А вот ковбой не брезгает погружать губы в это живое ноздреватое месиво.

— Ты чего? — Еще мгновенье, и братец заподозрит тебя в немужественности. А ведь ты и так упал нынче в его глазах.

— Пью.

Горьковатая жидкость с помойным запахом — каким варварским вкусом надо обладать, чтобы выстаивать за этим зельем длинные очереди! Но мужская солидарность превыше всего, и ты пьешь не морщась, ты наслаждаешься, ты ставишь ополовиненный стакан не потому, что на большее у тебя не хватает мочи, а чтобы продлить удовольствие.

Ржаво скрипят петли — братец окно открывает. Холодильник между рамами. Какая новая отравка в этом комке промасленной бумаги? Держись, Рябов,— готовится очередное покушение на твой несчастный желудок. Разворачивает. Сгорбленные ломтики сыра — останки последнего пиршества. Настоянная поэзией и страстью богемная жизнь. Вежливо берешь кусочек.

Фотография дочери — на стене, на самом видном месте, аккуратно приклеенная изоляционной лентой. «Машку я люблю. Когда вырастет, все объясню ей. Она поймет». — «Ребенку не объяснения нужны, а забота». — «Нет, мама, ребенку любовь нужна. Любовь! Ты не понимаешь этого. Я говорю страшные вещи, но это правда — ты не понимаешь. А для Машки я делаю все, что в моих силах. Но лгать я не намерен — даже ради нее. А если я останусь с ее матерью, это будет ложь. Сплошное каждодневное вранье. Неизвестно, что хуже для ребенка».

Взгляд твой не задерживается на фотографии, хотя, если разобраться, при чем тут твоя дочь — это во-первых (да и откуда ты взял, что у тебя будет дочь — дочь, а не сын?), а во-вторых — что мо-

жет быть естественней твоего интереса к племяннице? Ты даже осведомляешься:

— В школу в этом году пойдет? — А сам исподтишка съешь сыр под газету.

— На будущий.— Лаконично и отрывисто. Это слишком свято для меня — моя дочь, и поэтому прошу: не лезь.

Ради бога! Неторопливо отхлебываешь пиво. «ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА». Асимметричные, неправильной формы крылья.

— Ты уверен, что этот аэроплан взлетит? — Не дразнишь, нет, просто интересуешься — неотъемлемое право всякого дилетанта.

— Он уже летит.

Твой брат сошел с ума. Поворачиваешься и с любопытством глядишь на него.

— Новый тип самолета? Летит, не отрывая шасси от земли?

Игнорирует — весь там, в шедевре. Губы плотно сжаты.

— Это очень хорошая работа.— Протяжный вздох. Как мне жаль тебя, мой младший брат! Хорошо, я растолкую тебе популярно. — Можно нарисовать самолет в воздухе, но лететь он не будет. Картина не должна вонять моделью, она должна пахнуть ею. Это некто Ренуар сказал. Здесь передано движение. Внутренняя энергия, которая отрывает машину от земли.

Грустно мне, Станислав. Все же ты мой родственник, а так непророчно туп.

Благоваришь улыбкой. В отношении самолета тебе понятно.

— Я слышал, при отборе стюардесс учитывают внешние данные. Ты убежден, что твоя кандидатура пройдет конкурс?

Братец с кривой усмешкой отворачивается от шедевра, стягивает, кряхтя, свитер. Что спорить нам? Заранее согласен я с любой твоей ересью, только, ради бога, замолчи, не мучай меня своими вульгарными замечаниями.

— К тому же,— не унимаешься ты,— ей не хочется лететь.— Достанет ли у него силы воли не обзывать тебя кретином в своем собственном доме? — Мне кажется, она думает не о полете, а о том, что забыла выключить утюг.

Ты закончил. Ты обреченно берешь свой ополовиненный стакан. Мутные потеки на внутренней стороне стекла, но — надо пить.

— Как ты сказал?

Что означает этот тон? Эта замершая коренастая фигура со свитером в руках? Угроза применения силы? Уж не забыл ли он в приступе авторского самолюбия, что ты был финалистом областного первенства по боксу? Не чемпионом, как любит аттестовать тебя твой старший брат, а всего лишь финалистом, да и то среди юниоров, но этого вполне достаточно.

Ты миролюбиво улыбаешься. На нем розовая майка. Или не розовая — грязная?

— Я ведь дальтоник,— оправдываешься ты.

— Ты гениально сказал! Ты понял самую суть вещи. Ей действительно не хочется лететь, она думает о своем, о своих земных делах. Что утюг забыла выключить — об этом, может. Не знаю о чем. Важно другое. Ты помнишь Светку? Или ты не знал ее? Светку-стюардессу, с Сашей Бараненко летала?

Можно временно отставить стакан.

— Не помню Светки-стюардессы.

— Я писал ее. И страшно хотел передать это ее выражение. Надо лететь, надо улыбаться пассажирам, конфеты разносить, а на душе — пакостно. Совсем другое на душе.

Пластмассовый стаканчик с минеральной водой. «Пожалуйста, — галантно протягиваешь ты своей тогда еще безымянной спутнице, но она отрицательно качает головой, будущая девочка из Жаброва, и тогда ты предлагаешь: — Может, сладкую?» Самому смешно: Станислав Рябов в роли дамского угодника. «А есть?» Стюардесса терпеливо ждет с подносом в руках. Вытянув, как гусь, шею, находишь чашечку с лимонадом. Осторожно берет двумя пальцами, на указательном — стрелка пореза в слабой желтизне йода.

— Это невероятно трудно: на душе кошки скребут, а ты обязана быть веселой и приветливой. У Лотрека это здорово передано в его певичках.

В иллюминатор косо бьет солнце, разъединяя ее брови на отдельные волоски. Не смотрит на тебя, но ты угадываешь: помнит, все время помнит, что ты — рядом. Или это последующие события отбросили ложный и значительный блеск на те первые минуты?

— ...Никак не получалось. Поймать выражение не мог. Пять или шесть эскизов сделал, я тебе покажу. Потом плюнул и вместо портрета за рекламу сел. Тут-то и понял, чего не хватало, — контраста! Самолет — это движение, сгусток энергии, и этой энергии надо подчиниться. Нельзя не подчиниться. Она подчиняется, но только внешне, на душе у нее совсем другое, ты правильно сказал. Видишь, сейчас она улыбнется. Ей необходимо улыбнуться! Самолет взлетит, а она улыбнется. Это самое трудное: поймать не момент, а его преддверие, за секунду до. Не важно до чего: до крика ужаса, до смеха, важно — до! Тут цвет колоссальную роль играет. Линией так не передать, как цветом. Не цветом даже — оттенком. Оттенок — это предчувствие цвета. — Умолк с растопыренными волосатыми руками, вслушивается — в себя или кто входную дверь открыл? — Как здорово я сказал: оттенок — это предчувствие цвета!

Не верит, что это он сказал. Подтверди.

— Это ты сказал. — Тебе не надо чужих лавров.

— Что?

Ты хам! Брат выкладывает перед тобой душу, а ты скоморошечьи щелкаешь ее по носу. Интересно, есть ли у души нос?

— Я слушаю. — Серьезно и внимательно и даже слегка киваешь, подтверждая. Что? Не важно. Главное, подтверждая.

Цвет, оттенок, линия... Неужто и впрямь не понимает он, что для девяноста девяти процентов все это просто слова?

— Сезанн мечтал выразить цветом черное и белое. Цветом! Хотя черное — это отсутствие цвета.

Сезанн, Тулуз-Лотрек и как его? — бросаешь взгляд на книгу — «ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ». Накладные расходы человечества. Однако ты не собираешься утверждать, уподобляясь классическому образу технаря, что можно обойтись без них. Напротив!

«Технический прогресс влечет за собой рост накладных расходов — это неизбежно, и именно поэтому проблема управления производством становится в наши дни все актуальней...» Жаль, не довел до конца эту мысль! Автоматизация производственных процессов должна идти параллельно с автоматизацией процессов управления производством — как ты мог не сказать этого! Кто-то из студентов вопросом сбил.

— Динамика — в стремлении, и это надо передать цветом. Посмотри на небо, оно у меня не зеленое, оно как бы хочет стать зеленым, стремится к этому. Еще чуть-чуть — и станет. Я страшно долго бился над этим. Самолет взлетит, девушка улыбнется, а цвет неба станет чистым. За секунду до!

Волосы на груди — густые, курчавые, жесткие. Предмет мужской гордости. Завидуешь? «Женщины так и норовят дотронуться — будто

случайно». Загадочная женская душа! Орангутангом бы стать — отбою от поклонниц не будет.

Умолк — вдруг, на полуслове. Что-то спросил, а ты не соизволил ответить?

— Извини, я слушаю.— Весь внимание. Авось братец простит тебе недопитое пиво.

— Слушаешь! — Обнаженные в грустной усмешке почернелые зубы. Не над тобой смеюсь — над собой: перед кем распинаюсь! — Ты ведь не разбираешься в цветах.

На землю свалился со своего зеленого неба.

Беспомощно разводишь руками:

— Но при всех своих пороках зрения я вижу, что это не голубое, а зеленое.

— Не зеленое! В том-то и дело, что не зеленое, а только хочет стать зеленым.— На грани отчаяния. Как можно не понимать такого! — Хочет! В этом все дело.

— Понятно. Вот только почему оно хочет стать зеленым, а не голубым?

Братец перестал выворачивать свитер.

— Как?

Все ясно, ты сморозил чушь. По-видимому, ему еще не приходилось слышать такой чистопородной глупости. Что ж, неси дальше свой крест, расписывайся в махровой своей невежественности.

— Я, конечно, дальтоник — во всяком случае, окулисты утверждают это, — но тем не менее я почему-то склонен считать, что небо у нас голубое. Прости меня.

Братец понял. Братец вновь принялся выворачивать свитер.

— Небо может быть разным. Розовым, желтым, голубым, зеленым.— Скучно стало художнику Рябову — разве это собеседник! Экономист с засушенной душой. Производное от цифр. Чудовище! Видимо, тебе все же до дна придется лакать это зеленое зелье с прожилками осевшей пены. Или не зеленое — голубое? — Над Мелеховым всходило черное солнце. Черное!

Как свитер, который братец, аккуратно сложив, бросает на диван с неприбранной постелью. Сдавайся, Рябов-младший, — классиков мобилизует в союзники.

— На какой улице собираются повесить это?

Смирение в твоём голосе — публично признаешь себя болваном.

— Это? Ни на какой. Я даже заканчивать не стал. Разве такое повесят у нас! Небо должно быть синим, стюардесса — жизнерадостной, а самолет — летящим.

Это уже не в твой адрес. И то хорошо. Напряги и ты воображение, бодни рекламных начальников.

— Вывешивают же томатный сок в бокалах.

Братец электробритву берет. А ты полагал, борода исключает бритве.

— Разве только это! Белозубые красавицы со стеклянными глазами. Художественное панно! На всех площадях висят. Ренуара человек видит раз в жизни, ну два, три или даже ни разу, а это — каждый день. Утром, днем, вечером. Привыкают. Ренуар после этого мазней кажется.

О как! Воссе, оказывается, не томатный сок рекламирует братец — просвещает массы эстетически. Куда тебе до него со своими локальными проблемами внутрихозяйственного расчета!

Тулуз-Лотрек? Он сказал «Тулуз-Лотрек», или ты ослышался?

— ...А у нас брезгуют. У нас это не считается искусством. Брезгуют и не умеют.

Жужжанье. Приподняв ладонью бороду, толстую шею бреет. Ат-

лет! Но ты знаешь, как обманчива его борцовская внешность — ни силы, ни физической выносливости в этом мешке с мясом.

— Ты сказал что-то о Тулуз-Лотреке?

«*Завтра увидишь его в широком ассортименте*». «Знакомый букинист сделал. Он грезил этим альбомом». Сюрприз любимой тети.

— Я сказал, что он был мастером рекламы. Реклама прославила его. До этого его знали лишь избранные. Ну, какие избранные — такие же кутилы, как он. Потом на улицах Парижа появилась реклама Мулен-Руж — и все ахнули.

— А, — произносишь ты и понятиво наклоняешь голову. Спрашиваешь невинно: — Крамской тоже был мастером рекламы?

В сторону бритву, долой. Глаза сужаются. Пигмей, как смеешь ты при мне позволять такое!

— Когда ты пытаешься иронизировать над тем, в чем ни черта не смыслишь, ты выглядишь дураком.

— А, — произносишь ты и понятиво наклоняешь голову.

— Крамской, Рафаэль, Тулуз-Лотрек — для всех них главным было одно: чтобы их работы народ видел. Рафаэль капеллы расписывал, Крамской колесил с выставками по России, Лотрек рекламы писал. — «*Пожалуйста, не размахивай включенной бритвой — это опасно*». Попрдержжи язык, иначе вы поссоритесь и ты не увидишь прекрасную Ларису, которой понравился твой профиль. — Меня всегда бесит, когда ты начинаешь рассуждать об искусстве. Даже не бесит — поражает: неужели ты не чувствуешь своей ущербности?

Спокойно, Рябов. Обрати внимание, как надрывно жужжит на холостом ходу бритва.

— Ты бы выключил. Электроэнергию надо беречь.

— ...Не чувствуешь, что мир красочней, ярче, душистей, чем ты видишь его? Ты хотя бы подозреваешь это? Ты умный человек, ты должен если не видеть, то хотя бы подозревать.

Отхлебываешь пива. Странно, но ты не заметил, как оказался в руке стакан с этим изысканным напитком.

— Моя ущербность, если я правильно понял твою вдохновенную речь, заключается в том, что я не могу отличить Ван Гога от Гогена. Кто, кстати, из них гениальней? Каюсь, не могу. Но скажи мне, пожалуйста, из чего складывается национальный доход? — Бритва вновь по шее ползает, по одному и тому же месту. Я не желаю слушать подобную галиматью! — Или какая разница между основными и оборотными средствами?

— Мне это ни к чему, я не экономист.

— А я не художник.

— Ты дальтоник. И не только зрением — во всем.

Благоваришь улыбкой.

— Если никто в стране не отличит Ван Гога от Гогена...

— То никто не помрет, ты это хочешь сказать?

Снова долой бритву. Решил посостязаться с тобой на полемическом поприще? Ну что ж...

— Именно это. Общество не перестанет существовать. Что-то потеряет, не спорю, но погибнуть — не погибнет. А вот если ни одна душа в стране не будет знать, из чего складывается национальный доход или как образуется себестоимость, государство рухнет. Ты бы все же выключил бритву.

— Ты хочешь сказать, людям жрать надо? — Сейчас бить начнет.

— В общем-то, у меня есть такое подозрение.

— Но и стаду овец надо жрать. Ты обыватель! Только не квартирный, не тот, что заботится о домашнем уюте — хотя и тут ты непустишь своего, — у тебя размах шире. Глобальный обыватель. Дай

тебе волю, ты засадил бы человечество в теплую комнату, на мягкий диван и потчевал бы его до отвала. Глобальный обыватель — я страшно точно сказал. — Даже бритву выключил: решил в тишине насладиться собственным глубокомыслием.

— Благодарное человечество поставило бы мне памятник.

— Тебе?

— Да, ибо, по данным международной организации Красного Креста, миллиард людей на сегодняшний день голодает.

— Тебе плевать на этот миллиард. На все плевать. Возможно, ты принесешь людям пользу, не знаю, но если тебя припрет, ты пойдешь на все. Хотя ты, конечно, чистюля и предпочитаешь без крайней надобности не марать руки. Выгодно! — чистыми руками больше загребеешь. — Спокойно, профессор. Обрати внимание, какие длинные у него ресницы. — А на миллиард тебе плевать. Если тебе до лампочки один человек, вот хотя бы эта стюардесса, которой плохо — ты задумался, почему ей плохо, что случилось у нее? — то тебе и на миллиард плевать. Человечество нельзя любить оптом.

Еще один афоризм. Братец в ударе нынче.

— Мы не опоздаем?

— Твоя беда, что ты вообще никого не любишь. Никого! Даже себя. Если вдруг ты потерпишь крах.. Не внешний, нет, этот ты не потерпишь никогда. Другой! Если это случится, ты не сможешь даже убить себя. Чтобы покончить с собой, надо хоть немного любить себя.

Выпей еще. Вот так. Может, хотя бы это реабилитирует тебя в глазах брата? Не любишь себя, зато любишь пиво.

Брить возобновлено. Отбой, братец удовлетворил потребность обличать зло. Я неудачник, да, я ничего не достиг к тридцати годам, но я горжусь этим! «Вот ты... ты задумывался когда-нибудь, почему тебе так везет?» Намек на гайную ложь и скрытые подлости. «Золотой ключик у меня в кармане». Художник Рябов невесело улыбнулся. Ему жаль своего младшего брата — рано или поздно ему придется поплатиться за все.

Бритье завершено, радио включает — во избежание невежливой тишины? Спасибо, но тебе не скучно, ты наслаждаешься шедеврами «ГОГЕНА В ПОЛИНЕЗИИ».

...ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫПУСКА В РЕДАКЦИЮ ПРИХОДЯТ ТЫСЯЧИ ПИСЕМ. НАРЯДУ С ОТВЕТАМИ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ НАМИ ВОПРОСЫ МЫ НАХОДИМ В НИХ ВСТРЕЧНЫЕ...

На часы глядишь. Через семь минут — местная трансляция, голос диктора областного радио ворвется в эфир. Не потому ли включил? Пуповину рвать не хочет?

Приторный запах цветочного одеколona — на «Шипр» денег нету? Преподнести «Шипр» завтра — подарок, прямо пропорциональный его братской привязанности к тебе.

Осматриваешься — чем бы пиво запить? Ведро в коридоре, но не лакает ли из него еж Егор Иванович?

Модель крейсера. Неряшливая, приблизительная работа — вершина судомоделирования, которую покорила будущий художник Андрей Рябов. Мидель явно заужен — по-видимому, братец спутал середину судна с талией женщины. Или слишком рано для тринадцатилетнего мальчика?

Рубанок, стамески, пахнет стружками и столярным клеем. Брошюры — с обложками и без, замусоленные чертежи. Многочасовые бдения над верстаком в сарае. «Дай! Подержи! Принеси! Живее, ну!» Младший брат не протестовал — иначе ведь и не обращаются с подмастерьями. Торжественное поднятие флага на фок-мачте. И сразу же заложен фрегат, но лишь остов корпуса вырезан — на большее не хватило тер-

пения. Новая страсть у мастера: шахматы. Облезлая шахматная доска извлечена из дивана. Не все фигуры — пусть, есть пуговицы, есть катушка из-под ниток, которая, если вымарать ее чернилами, вполне сойдет за черного коня.

Фрегат заканчивал подмастерье. Мастер посмеивался: сколько ужающей инерции в младшем брате! Шахматы — вот единственное достойное мужчины занятие!

Не спеша переворачиваешь плотные страницы. Аляповатые искаженные фигуры — опыты ребенка с красками. Можно представить, какая отчаянная скука терзала господина Гогена в его Полинезии. Миллиард людей голодает на планете, а взрослые мужчины транжирят жизнь на раскрашивание картинок.

«Тебе плевать на этот миллиард». Тебе, не ему! Слезами исходит от жалости к полуголодному человечеству. Выкатившись из глаз, в бороде застревают блестящие капли.

«Сыночек! Что же ты наделал с собой, сыночек!»

Тебя поразило, что у Шатуна, оказывается, есть мать. Да и не такая уж старая... К сроку добралась со своего Урала и еще успела продать кольцо — единственное, что было у нее, — чтобы хоть как-то помянуть пусть спившегося, но сына. «Послушай, может, дать ей денег?» «Как ты смеешь! — Слезы в бороде — так растрогало горе матери. — Она сына хоронит. Сына — понимаешь?» Соседки, однако, оказались не столь впечатлительными. Шушукаясь и суетясь, скидывались кто сколько может. Братец не замечал этой пошлой возни. Возвышенной жалостью к несчастной старухе пылала его отзывчивая душа. «От нас двоих», — шепнул ты соседке. Разделение труда: пока братец оплакивает горе, ты пытаешься горю помочь.

«Ты мертвец. Живой мертвец! В тебе нет недостатков — ты убил их, но заодно ты убил в себе душу. Чтоб не обременяла». «Ты хочешь сказать, я недостаточно сентиментален?»

«Приветик! Не ждала? Полагала, я не настолько старомоден, чтобы переться бог знает куда для продолжения заурядного курортного флирта!» «Честно сказать, я не думала, что вы приедете. — Домашний халат: суббота, на работу не идти. Или в Жаброве и по субботам рабоботают? — Сразу нашли?»

«Простите, где живет Зина Дмитриева?» Женщина с коромыслом. Подозрительный взгляд из-под низкой косынки: что за фронт в смехотворной шапочке? «Фельдшерница-то? Вон дом, у колодца». Забыв о ведрах, долго глядит вслед.

Братец, расщедрившись, подливает пива. Твоя рука вздрагивает, инстинктивно пытаешься защитить стакан, но ты благоразумно удерживаешь ее на «ГОГЕНЕ В ПОЛИНЕЗИИ». Цени! — наступив на трепещущее самолюбие, художник первым делает шаг к примирению.

— Спасибо. Себе оставь.

Брюки уютжит. Выйдет холеный и надушенный, неся перед собой хемингуэевскую бороду.

Скомканная грязная простыня, конфетные обертки на полу. Из коридора кислым бельем несет.

«Экономисты на производстве нередко выполняют роль бутафоров. Со стороны глянешь — все считается, учитывается, взвешивается — словом, вполне грамотное современное предприятие. Но копните глубже — и перед вами предстанет хаос. Ни конца, ни начала. Такое предприятие напоминает человека, который, как денди лондонский, одет, но дома у которого грязь и беспорядок...» Непремено использовать! Возможно, популяризация чрезмерная, но для областной газеты, если ты правильно понял их, требуется именно это. К пятнице закончить...

Переворачиваешь плотный лист. Что за высокомерный тип с азиатскими глазами? Император Японии на своем троне? «ГОГЕН В ХАРАКТЕРНОЙ ПОЗЕ, МЕЖДУ ДВУМЯ ВАЖНЫМИ ПЕРИОДАМИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ. ОН ТОЛЬКО ЧТО ПРИБЫЛ ИЗ БРИТАНИИ».

Император Японии! Актер... Как и твой братец, начитавшийся романов из жизни великих людей. Вечный маскарад, спектакль перед самим собой, ширпотребная трагедия. «Три кита, на которых держится мир, сын мой! Поэзия, любовь, работа. Три божества, которым ваш отец всегда поклонялся. Ты унаследовал мою душу, Станислав».

Я унаследовал твои торчащие уши, папа, а душа и все прочее досталось художнику. Но душа — бог с ней, жаль шевелюры, которой я весьма кстати замаскировал бы свою лопухость.

...ПРИНЯТИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДШЕСТВУЕТ ПОИСК РЕЗЕРВОВ...

Москва все еще. Двадцать семь минут шестого. Выпорхнет через три минуты.

«ЖЕНЩИНА, ДЕРЖАЩАЯ ПЛОД». Цветистое полотнище понижее пупка. Левая грудь целомудренно покрыта грушей — или что это у нее? Все же японский император не так непристоен, как гений рекламы.

С трудом стягивает брюки на толстом животе. Трикотажная рубашка мышинного цвета — чтоб реже стирать? Светлые пятна под мышками — пот выел. Рубашку ты и подаришь ему — белую, из чистейшего нейлона. Размер — сорок третий. Именно сорок третий — в отличие от мамы ты помнишь это твердо.

Не мелочись, Рябов, мама тоже помнила. «Я просила сорок первый, а продавщица... Там такой галдеж стоял». Когда видел ты директора кондитерской фабрики в таком смятении? Кончик носа порозовел... Ну что ты, мама! Я верю, что ты ошиблась, что ты покупала рубашку мне и думала при этом обо мне, а вовсе не о нем, своем непутевом первенце. Словом, оговориться ты никак не могла и сказала «сорок первый», а не «сорок третий», рассеянной же продавщице слышалось: сорок третий. Или, может быть, кто-то сзади тебя сказал «сорок третий», а продавщица решила — это ты, и завернула тебе. Все в порядке! Я обменяю ее на сорок первый или... Нет, что ты, я вовсе не собираюсь отдавать ее своему неблагодарному брату, я имею в виду другое. Когда-нибудь я, может, тоже нальюсь до сорок третьего, и тогда твой подарок будет мне в самый раз. К этому времени они наверняка снова войдут в моду. А пока пусть полежит. Не переживай, мама, твоя принципиальность и твоя воля вне подозрений. Ты ничем не скомпрометировала себя: братец по-прежнему убежден, что у него нет матери. Это ничего — ведь у него есть няня, человек великой души.

— Поля тебе носки передала. Я оставил у Тамары.

Недоумение. Даже рубашку перестал заправлять.

— Какие носки?

— Подарок няни своему мальчику в день тридцатилетия.

Что он хочет высмотреть в тебе? Собирается сказать что-то, но нет, раздумал. Туалет продолжает. Но почему так медленно? И почему — сопя?

— Я свинья. Забыл пригласить ее.

Гмыкаешь. Уникальный случай: братец недоволен собой.

...ЧАСОВ ТРИДЦАТЬ МИНУТ. ПЕРЕДАЕМ ОБЛАСТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ.

Здравствуй, папа! На секунду замирает рука, расчесывающая бороду, — только на секунду, не более. Может, и без папы не состоится юбилей? В долгой войне сына с директором кондитерской фабрики диктор занимал благородный нейтралитет.

— Полшестого только. Успеем к Поле забежать,

Без энтузиазма встречаешь это решение свыше. «Стасик, ты? Господи, я и не узнала. Ну, как ты живешь? Статью твою в газете читали». — «Спасибо». — «Это Стасик, вы разве не помните? В семнадцатой квартире жили. Сын Александры Ивановны, на кондитерской фабрике работала. А отец на радио объявляет. Диктором».

...ОСУЩЕСТВЛЕН РЯД КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ И РАЗВИТИЮ...

— Как он там? — На динамик кивает. — Рыбалит все?

В бороду от сузившихся глаз сбегает добрые морщинки — повеселел. В предвкушении паломничества на родной двор?

— Во вторник двух карасей принес. Или лещей, что ли. — Ты знаешь, что лещей (с карасями их даже ты не спутаешь), но тоже спешешь продемонстрировать свое ироническое отношение к предку. — Сам чистил, сам жарил.

Замерла протянутая к шкафу рука. Ждет, что еще скажешь.

— Он все так же по вторникам выходной?

— Вроде бы.

Завтра вторник. «Последний раз на подледный схожу... Три божества, которым ваш отец всегда поклонялся. Ну, еще, может, рыбная ловля».

Дверца шкафа визжит, как трамвай на повороте. Вероятно, братец умышленно не смазывает ее: трамвайный визг напоминает ему детство и милый двор, куда вы отправитесь сейчас приглашать на день рождения старую няню.

Ненароком внутрь заглядываешь. Коробки, соломенная шляпа, шахматы — памятник еще одной рухнувшей иллюзии: чемпионом мира другой стал. Приспособленцы!

...ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ В КОЛЛЕКТИВЕ ПОЛУЧИЛА ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ТОКАРЯ МАТЮШЕНКО...

Смех. Быстро и удивленно взглядываешь на брата.

— И жарит, значит, сам!

— По три часа от плиты не отходит. Хобби!

Исчерпан конфликт — полное перемирие. Мальчики традиционно подтрунивают над папой.

Братец готов. Захлопываешь «ГОГЕНА В ПОЛИНЕЗИИ», встаешь. Из-под дивана интеллигентно выглядывает еж. Как жизнь, Егор Иванович?

«В субботу в Жаброво еду. Не слышал такого?» «Ты? Зачем?»

Ему бы она понравилась. Или не очень? Пытаешься увидеть девочку глазами брата, но — странное дело! — пальто видишь (приталенное, рябенкое и ярко освещено вспыхнувшим из морской черноты прожектором), видишь воздушный шарфик в горошек, а девочки нет. Нет, и все тут. Старая скряга память, что с тобой?

— Потопали? — предлагает хозяин, демонстрируя тем самым братское равноправие.

Он душист и наряден. Ты мешкаешь у стакана с недопитым пивом — вылить и вымыть бы, но, по всей вероятности, это не в традициях дома — убирать посуду. Выходишь первым.

Голубятня, песочница посреди двора, бабушки с колясками. «Победа», цепью прикованная к столбу. Со временем дядя Петя получит за нее кругленькую сумму. Не как за средство передвижения — как за музейный экспонат, сохраненный в идеальном состоянии. За рулем дядю Петю ты не помнишь — лишь под машиной и около.

Умолк и подобрался братец: воспоминания нахлынули. Все как шестнадцать лет назад. Милый, милый двор! Как много и проникновенно написано об этом чувстве—не испытывать его просто неприлично.

Пять минут седьмого.

— Где мы встречаемся?

Братец трудно возвращается в сейчас из милого, милого далека.

— Что? — Безрадостное возвращение.

— Я спрашиваю, где встречаемся с дамами.

Морщится. Не понимаю, как можешь ты в такую минуту думать о ерунде.

— Извини, пожалуйста. Я помешал тебе.

В усмешке кривятся толстые губы. Какой же ты циник, мой младший брат!

Лидия Павловна... С клюкой, а все равно бежит — разучилась спокойно ходить за семь десятилетий. А может, за восемь?

«Мальчики, где тут у вас зубной врач живет?» — скомканный носовой платок у щеки.

— Здравствуйте, — внятно выговариваешь ты, а братец молчит, но шаг замедляет.

— Здравствуйте, Стасик! — бодро, звонко. Над коричневым личиком, сухим и сморщенным, как гофрированная бумага, парит гордая шляпка. — Навестить нас?

Преглупо улыбаешься, и вот вы уже стоите друг перед другом.

— Как живете, все хорошо? — В сторону братца сверкают из гофрированной бумаги живые и быстрые глаза. Тот загадочно молчит, с трудом сдерживая готовые расплзтись толстые губы. Не узнаете, Лидия Павловна? Меня — и не узнаете?

— Спасибо, — благодаришь, — хорошо.

Кивает удовлетворенно. Клюка нетерпеливо отрывается от земли — Лидию Павловну пациенты ждут. Вот уже семь десятилетий как они ждут ее. Или даже восемь.

— Здравствуйте, Лидия Павловна, — отдельно, глухо, выжидательно.

Взгляд-прыжок. «Лидия Павловна себе на уме. — Поля все о всех знала. — Дома-то если лечишь — налоги плати, а она так...»

— Андрюшка!

Расплылся. О бороде говорит Лидия Павловна — то ли возмущается, то ли восхищается. Из-за бороды не узнала... Не торопится более — подождут пациенты.

— Ну как ты, что ты? Сколько не видела тебя! А мне ведь говорили, что ты бороду отпустил.

Ты неприкаянно улыбаешься, с интересом изучаешь серебристые завитки каракулевой шубки.

Сколько еще остановок до конечного пункта — оранжерейной Полиной комнаты? «Андрей, ты! Андрюшка! Андрюха!» Ты был тих, а братец уже тогда самоутверждал себя разнообразно и шумно. Разбитые мячом окна, оборванная слива в палисаднике Матюхина, побег из дому, костер из стружек в подвале — душою всех этих мероприятий был, разумеется, твой старший брат. Негодование, восторг, сочувствие — какая бесконечная гамма чувств у соседей! Он похищал их душевную энергию, а люди по натуре своей скупы; не мудрено, что они запомнили твоего старшего брата лучше, чем тебя, — ведь ты не брал у них ничего. К тому же ты удачлив, здоров, перспективен, у тебя красивая жена и ты не платишь алиментов, а что может быть слаще жалости к ближнему! Упитья широтой своей души, ее чуткостью и изысканным благородством, а заодно еще раз убедиться в несокруши-

мом своем благополучии: у вас хуже, чем у меня, но я не думаю об этом — ваше горе разрывает мне сердце. Экое деликатесное чувство возбуждает братец у окружающих — как после этого не любить его!

— Хорошая бабка.

— Кто, зубной врач?

— Мы всегда с нее начинали, когда собирали на что-то. На волейбольную сетку, помню, двадцать пять рублей дала. По-старому.

Мерило человеческой добродетели. А впрочем, ты и сам терпеть не можешь сквалыг — жадность, на твой взгляд, вскормлена отсутствием чувства юмора.

Кто-то еще шествует навстречу, но тебе незнакомо это рыбе лицо с желтыми бакенбардами. Благополучно разминулись.

Вам направо, но братец замедляет шаг, издали глядит на бывшее ваше парадное. Ушедшее навсегда босоное детство... Косишься: не блестят ли слезы в бороде? Ба, да он недоволен чем-то, он хмурится! Что смело омрачить радость свидания? Заинтригованный, прослеживаешь за его взглядом. Что-то изменилось там, но никак не понять, что именно.

— Сливу срубили, сволочи!

Яма, лопата, тоненькое, прислоненное к стене деревце — будущая слива. Диктор областного радио вдохновенно руководит посадкой. Галоши на домашних тапочках.

На святыню посягнули! Выкорчевали дерево, которое сажал сам Андрей Рябов! Сопит, страдая.

«Ты походя делаешь несчастной свою дочь: отнимаешь у нее отца. Хотя бы в этом ты отдаешь себе отчет?» — «У нее будет отец». — «Раз в месяц или в лучшем случае раз в неделю, по воскресеньям. Ты считаешь это нормальным детством?» — «У нас не лучше было. Мы тебя сутками не видели — ты не выходила со своей фабрики». — «Тогда другое время было». Мама права: другое время, другая фабрика. «А ты? Ради чего ты жертвуешь счастьем своего ребенка? Чтобы похоть удовлетворить? Мне стыдно, что ты мой сын».

Бедное деревце! Терпеливо ждешь, пока братец оплачет его. Отвернулся, угрюмый, двинулся к Полиному подъезду. Ветер седеющую гриву развеивает. Ты семенишь рядом — педант, сухарь с пластмассовой душой, неспособной пожалеть невинное дерево.

Общая кухня, огромная и мрачная. В тазу на примусе кипятится белье. Фикус в кадке с ржавыми обручами — Поля из комнаты выставила? Братец стучит костяшками пальцев, не ждет, в нетерпении дергает дверь. Любимец старой няни, разве не имеет он права без разрешения вламываться к ней в любое время суток?

— Кто там? — скрипуче, досадливо: я никого не жду — оставьте меня в покое.

— Я, Поля. Открой.

Гейзером извергается радость за дверью. Звяканье и скрежет за движек, ключей, цепочек. Твоего «я» было бы явно недостаточно, принялась бы с подозрением уточнять, кто именно скрывается за ним.

Дверь распахивается — спешит няня. Кошка выныривает из-под кривых ног в вылинявших чулках, но в замешательстве замирает: люди. Поотвык, поотвык от цивилизации зверь.

Занавесочки, зелень, цветы в горшках. Пахнет незрелыми помидорами. Диктор областного радио с лейкой в руках. «Люблю в земле копать. Природа!»

Неспешно и снисходительно шествует братец по комнате. Хозяин! Торопливо прикрыв дверь, няня тянется следом — мимо тебя, не глядя на тебя.

— ...Не заходишь и не заходишь. Я уж думаю, случилось что. Сегодня утром Стасика видела — все в порядке, значит.

«Ты мертв. Ты и страшен, потому что ты мертв».

— Жив курилка!

Няня вздрагивает, оборачивается. Разглаженное сияющее лицо. Я и позабыла о тебе, Стасик, а ты вот он, оказывается.

— Проходи, что же у порога? Проходи.

— Прохожу, — заверяешь ты, не двигаясь с места, но няня верит тебе на слово. Ты получил свою порцию радушия. Располагайся, как тебе угодно, занимай сам себя. Хочешь — вздремни на кровати рядом с кошкой, которая, выходит, так и не покинула комнату, или это другая? Можешь в платяной шкаф спрятаться. *«Ку-ку, я тут»*.

Заложив руки за спину, разглядывает братец портрет няни. Работа четырехлетней давности, начало эпохи бездомности. Разумеется, он и сейчас мог жить здесь, но куда в таком случае водить поклонниц своего самобытного дарования?

Няня хлопчет. Ты снова попадаешься ей на глаза, и она гостеприимно затаскивает тебя в глубь комнаты. Видишь, как ты несправедлив к ней — она и тебя любит, а уж об уважении и говорить не приходится. *«Стасик-то большим человеком стал. Ученый. У него голова... Ах, какая голова у него!»* Гордится тобою старая няня. Андрюша любит, а тобой гордится. Дифференциация чувств. *«Дальнейшее развитие организации управления производством немислимо без строжайшей дифференциации»*.

Братец приближается к кадучке с лимоном, почтительно трогает крохотный, как грецкий орех, темно-зеленый плод. Няню волнует, что он до сих пор не снял пальто — неужто бежать собирается? А пастилла? А клубничное варенье — немного осталось, я приберегла! Знает старая няня, чем соблазнить бородатого мальчика.

«Надо не грызть его, а сосать. — Мелкие, острые, неровно наколотые кусочки сахара на газете. — Вон как Стасик сосет. А ты грызешь. Так быстро и удовольствия нету».

Кажется, братец так и не освоил эту премудрость — спрятать за язык колючий поначалу кусочек и, лелея, бесконечно долго выкачивать из него сладость.

«Господи, мать на кондитерской фабрике работает, а дети сладкого вдоволь не видят. Слишком уж честная».

Так как же пастилла и клубничное варенье? Молящий взгляд устремлен на брата: я прошу тебя, Андрюша, это быстро, мои старые руки уже наготове и вздрагивают от нетерпения, разреши им — и они мигом извлекут все из шкафа.

— В другой раз, Поля. Мы спешим. Ты ведь знаешь, зачем я пришел к тебе.

— Нет... — Взгляд хочет удрать, но братец, умудренный психолог, насильно удерживает его.

— Завтра в семь у Тамары. Ты поняла меня?

— Завтра? — Взгляд убегает все же, а сизые губы беспомощно чмокают в поисках слова. — Завтра... Так чего же я? Там вся молодежь, а я чего? Только веселью вредить.

— Не говори глупостей!

О как! Учись разговаривать со старушками, если хочешь, чтобы и тебя потчевали клубничным вареньем. «Бедокур! Такой бедокур — спасу нет».

— А как же...

Что-то мучает ее, но выговорить не решается. Кошка встает на

кровати, лениво восходит на подушку, прикрытую ажурной накидкой, ложится.

Что терзает няню?

«Давайте рассчитаемся, Полина Михайловна. С первого октября вы свободны, но мы оплатим вам еще две недели. Компенсация за отпуск. Максим Алексеевич, и я, и, разумеется, дети очень признательны вам. А это вам на память от нас». — «Спасибо... Но я... я хотела сказать, что если вам... Что мне можно меньше платить, если...» — «Вы неправильно меня поняли, Полина Михайловна. Мы отказываемся от ваших услуг не из-за денег. Просто дети выросли и надобность в домработнице отпала». — «Да... Я понимаю... Я... Я на сто пятьдесят рублей согласна. Питание и сто пятьдесят рублей. Как же я без нихто?» — «Будете видаться — ведь мы пока живем в одном дворе. Вы нам очень помогли, и мы благодарны вам, но теперь, я полагаю, вам лучше пойти на производство. Там вам будет лучше. Здесь в вашем труде нуждались лишь четверо, на производстве же таких людей будет много. Вы сразу почувствуете себя иначе. Если хотите, я возьму вас на фабрику. Уборщицей, на полторы ставки».

— Ты чего? — Братец тоже заметил страдания няни.

— А как же я... Я не знаю, чего подарить.

— Так ведь ты подарила уже. Ему передала. — Кивок в твою сторону, и ты расцветашь от этого «ему», как тюльпан под солнцем.

— Но как же я... Все с подарками, а я так.

Это уж ты виноват. «Сами завтра отдадите, он всегда приглашает вас». Напористости не хватило. Братец на твоём месте бесцеремонно сунул бы носки — и что там еще было в целлофане? — в ее древнюю сумку.

Забыл о пальто, которое начал было застегивать, забыл, что пора идти, — на няню глядит сузившимися глазами. Вот так смотрит художник на свою модель: изучающе, проникновенно, с восторженным недоумением. Ты напоминающе хмыкаешь. Братец шагает к няне, ладонями касается старушечьих плеч.

— Не выдумывай. Завтра в семь. Где там у тебя пастила?

Враз о всех сомнениях позабыла — вспорхнула, к шкафу бежит. Кошка заинтригованно подымает голову. Ты презираешь сладкое, но и ты берешь пастилу — иначе вам сегодня не выбраться отсюда. Дисциплинированно проглотив рыхлую липкую массу, платком вытираешь пальцы, выходишь первым, предоставив художнику право один на один расправиться с вазой.

Над примусом с бельем высится шофер Осин. Скалка в вытянутой руке — помешивает, далеко назад откинув голову.

Сверкающий черный «ЗИС» с начальственным номером. «Ну-ка лезьте, у кого ноги чистые, — до ворот без остановки». Давка, ругань, визг, смех — работая локтями, подрастающее поколение штурмует флагман отечественного автомобилестроения. У тебя не было оснований считать свои ноги грязными, но ты никогда не принимал участия в битвах за место в лимузине — издали без зависти наблюдал за баталиями.

Без зависти?

У шофера Осина профессионально цепкий взгляд: пар глаза выедает, а заметил-таки тебя, поворачивает крупное лицо добросердечной лошади. Здравоваешься.

— Привет! — рокошет в ответ виртуоз баранки и обнажает в улыбке великолепные желтые зубы.

— Проведать зашли, — киваешь на дверь няни. Хоть ты и скучал в стороне, когда бушевали сражения за место в машине, трудно без слов профланировать мимо бывшего соседа.

Вот именно — скучал. Стало быть, не было зависти.

— Как жизнь? — философски интересуется он, но работу не прекращает.

— Течет.

— Все течет, все меняется? Андрей как? Что-то я давно не видел его.

— Сейчас увидите.

Шофер Осин замедляет вращательные движения. Шофер Осин совсем прекращает их.

— Он тут?

В числе первых прорывался братец в автомобиль — как не ценить его хотя бы за это?

— Он тут.

Наружу вылезает распаренная скалка. До белья ли, когда сам Андрей Рябов соизволил навестить родной двор! А вот и он — царственно возникает в проеме распахнутой двери. Здравствуй, господин Курбе!

Ветошью не глядя вытирает огромные руки мастер баранки. Обниматься будут? Нет, рукопожатие, долгое и прочувствованное.

— И не зашел стервец, а!

Не могут налюбоваться друг другом.

— Я на минутку, дядь Леш. Честное слово!

За спиной брата розовеет старая няня — не нарадуется на любовь, какую возбуждает у народа ее первенец.

— Зайдем, а? Лида хоть глянет на тебя. Мы как раз вспоминали вчера о тебе. Она расстроится: был и не зашел.

Скалишь зубы. Бедная Лида!

— Мы торопимся.

Братец великодушен: «мы».

С досадой взглядывает на тебя ас. Сейчас последует новое приглашение: шофер официально объявит, что о тебе тоже вспоминали вчера с супругой Лидой.

— Две секунды, а?

Первозданная... Нет, первобытная, пещерная искренность. Я не приглашаю тебя, но позволь заграбастать на пару секунд твоего старшего брата. Не обессудь: я человек простой — что на уме, то на языке.

Цветешь. Пожалуйста, дядя Леша, пожалуйста, ас, пожалуйста, виртуоз и мастер, человек простой. Слышите, как браво стучит мое сердце — за брата радуется.

Лицо добросердечной лошади говорит тебе что-то, ты согласно киваешь, и лишь после проступают слова:

— Может, тоже заглянешь?

Вот и тебе перепало от соседской любви.

— Спасибо, воздухом подышу. Весна!

Капель, пустые деревья. Празднично — ах, как празднично горит крыша под заходящим солнцем. Что ни черепица, то маленькое зеркальце. Небо высоко и много воздуха. Землей пахнет.

Как же страшно было Шатуну — лежать и знать уже трезвому: все, конец, больше никогда не выйдешь отсюда!

Почему прозвали его Шатуном? Длинное и безволосое, с тяжелым подбородком лицо... Длинные, с огромными кистями руки... Или оттого, что шатался, как медведь, в поисках недостающих копеек? Сколько раз подстерегал тебя у подъезда, и ты торопливо лез в карман, торопливо выгребал мелочь. А может быть, фамилия — Шатунов?

— Здравствуй, Стасик. — Женщина с ведром, полным картофельной кожуры и жестяных банок. — В гости?

Ощерешься:

— Милый сердцу уголок. — Как зовут ее?

«Куда вы, тетя? Андрей Рябов в этом доме. Спешите видеть!»

«Господи, он ведь знал, что умирает. Глаза-то пожелтели, а в приемном покое, когда привезли, ляпнул кто-то: опять циррозный. Думали, без памяти, а он слышал. Ольга рассказывала (она ему сок принесла): так смотрел, так смотрел, а спросить боялся».

Своими торопливыми копейками ты, наверно, ускорил его смерть, но знай ты тогда, какая жуть это — умирать одному, пришел бы в больницу, только не с соком, как племянница — или кто там она ему? — Ольга, а с четвертинкой. Пусть бы выпил, раз все равно никаких надежд, только бы не глядел, обмирая от страха, пожелтевшими глазами.

Визжат трамвайные колеса на повороте — как полтора десятилетия назад.

Не хандри же, Рябов! Видишь, птица летит — тяжело и устало, на ночлег. Одинокая птица в огромном небе. Это символ, капитан, не правда ли? Лишь муравьи живут кучей.

Братец, обласканный и счастливый, выползает наружу. Веселишься ему в лицо:

— Порадовал супругу Лидию?

Молча погружает в тебя взгляд: все глубже, глубже — через зрачок, через глазной нерв, в самое сердце.

— Так что супруга Лидия? — не унимаешься ты.

А сердце, между прочим, напоминает фигу. Живую жилистую фигу с синим пальцем. Удовлетворен, братец?

Выходите за ворота. Все звенит и смеется вокруг.

— Послушай, у меня к тебе просьба. — Прекрасно! Ты обожаешь, когда к тебе обращаются с просьбами. — Что купила мне Поля?

Это и есть просьба?

— Хрустящий целлофан, в котором упакованы носки и еще что-то. Возможно, абрикосовый джем.

Страдальчески кривится бородатое лицо.

— Ты бы мог взять все это и отнести Поле?

В лужу наступаешь, обескураженный:

— Поле отнести?

Не устаивает ответом. По-моему, я сказал достаточно ясно.

Яснее некуда. Поругался с любимой няней? Исключено.

«Надо учиться любить у Поли. Она любит не за что-то, просто любит. Меня, во всяком случае, никто так не любил — ни женщины, ни мать. С точки зрения матери, у меня недостаточно развито чувство гражданственности. Я недостойн ее любви».

Мама тоже так считает — недостойн и оттого, принося, к своему стыдливому изумлению, вместо сорок первого размера сорок третий, смущается, а кончик носа розовеет. Оттого не оспаривает слов: «Нет, мама, ребенку нужна любовь. Любовь! Ты не понимаешь этого. Я говорю страшные вещи, но это правда — ты не понимаешь», — не оспаривает, но пальцы опущенных рук быстро бегают, норовя схватить что-то, а поднятое директорское лицо с поджатыми губами непроницаемо и сурово. Бедная мама! — как уследить сразу за лицом и пальцами!

— Поля без подарка не придет. Купит еще один.

— Но ведь она подарила уже. — Ты чувствуешь себя идиотом. Удивительно светлое чувство!

— Поля без подарка не придет, — тихо и четко, сквозь зубы: нельзя не понимать такие элементарные вещи!

— Я должен вернуть ей подарок, чтобы она самолично вручила его тебе?

— Да.

Где ты читал, что отсутствием чувства юмора — именно этого чув-

ства — можно объяснить появление в Заполярье стеклянных аэровокзалов?

— И ты еще раз поблагодаришь ее, на этот раз публично?

Лица, трамвай, шапки, лакированные сапожки, звон и многоголосье. Муравейник.

— Скажешь, ты не передал мне. Не смог.— В детстве братец обожал цирк.— Пожалуйста, сделай это с утра.

Поразительно, каким учтивым может он быть!

— А почему бы тебе самому не преподнести ей ее собственный подарок? Она поблагодарит тебя. Потом она преподнесет его тебе, и ты, в свою очередь, поблагодаришь ее. После этого весь цикл можно повторить снова.— Тебе весело — на сей раз взаправду. А ведь ты едва не захныкал, когда десять минут назад вышел из кухни.— На будущий год вы заново проделаете всю процедуру — с этими же носками. Ты только не надень их по рассеянности.— Пляшешь, как дикарь у костра,— вот как весело тебе.— И так из года в год. В промежутках между именинами можно дарить носки приятелям, но с условием непременного возвращения.

Разноцветные перья торчат в голове — вакханалия радости.

— Напрасно ты так, старик. Поля тебя тоже любит. Просто она стесняется тебя. Если б ты знал, как она гордится тобой! У нее даже твои статьи есть — из газеты вырезала.

Получил? Так тебе, поделом! Пляши же, пляши дальше!

— Да и Осин... К тебе с уважением относится. Его жена спрашивала о тебе. Они все тебя большим человеком считают — потому так сдержанны с тобой. Боятся назойливыми показаться. А я для них тот же Андрияха, хоть и бороду отпустил. Шалопай.

Доплясался? Вскачь несется галдящая улица — с людьми, капелью, смехом, машинами, и все мимо, мимо. Все — мимо, а ты на месте, ты уже давно на месте, один, а всем кажется, ты летишь вперед. А может, и впрямь летишь? Может, и впрямь обогнал всех и потому-то — только потому! — один?

Братец по плечу хлопает — подбадривает.

— Выше голову, старина!

Выше? Он сказал: выше?

— Вот так, да? — И двумя пальцами схватив его за бороду, тянешь вверх.

Братец опешил. Братец глядит на тебя почти с ужасом, а ты смеешься и дергаешь его за бороду. «Выше! — ликуешь ты. — Еще выше!» — пока он, придя наконец в себя, не отталкивает твою руку.

10

Борода, живописные волосы с проседью — вид ресторанного за-всегда, а официантка к тебе подошла. Или на расстоянии чувствуют платежеспособность клиента? Взглядом к брату отсылаешь. Поворачивается — с карандашным огрызком наготове. Андрей Рябов прокладывает между бровями озабоченную складку.

— «Осетрина», — читает он. — Отварная или балык?

Сколько требовательного внимания в поднятом на официантку гяжелом взгляде! Все богатство своей артистической натуры передал старшему сыну диктор областного радио.

«Пока нет дам, ты, может быть, проинструктируешь меня? Я могу пригласить на завтра родителей?» «Она не пойдет». Ни грана сомнений в нравственной стойкости директора кондитерской фабрики. «А он?»

Не отвечает. Ветер треплет неприкрытые волосы. Руки в карманах пальто. «Идут».

Веру ты узнал сразу, но Вера не предназначалась тебе. Жизнерадостно и не без любопытства взирал на ее сухопарую подругу: буклистое макси до щиколоток, шапка, напоминающая... не ежа, нет,— дикобраза, что ошетинил колючки. «Меня зовут Лариса». Некоторый вызов почудился тебе в ее высоком голосе. Ты ухмыльнулся.

— А вы, значит, преподаете? — Вялая и длинная, без выпуклостей рука на подлокотнике кресла. Обручальное кольцо.

— Время от времени.— Братец столь пышно представил тебя, что тебе не остается ничего иного как быть скромным.— Коллеги в некотором роде.

— В некотором роде, — меланхолично соглашается Lehrerin¹.
Боже, на какую скуку ты обрек ее!

И так весь вечер. Манекена подсунули ей, не мужчину, — манекена, начиненного цифрами. Иное дело у Веры. Художник, натура самобытная и яркая. Ранняя седина в волосах, мешки под глазами, больные, с потрескавшимися белками глаза. Валидол в кармане. Что ты по сравнению с ним? Ни следов страданий на твоём весеннем лице, ни мучительных страстей, ни напряженного творческого поиска. Даже не куришь! В ожидании яств художник и обе дамы со вкусом затягиваются, на твою же долю выпала честь нести застольную чепуху. С легким снихождением внимают тебе. О незаурядности природы свидетельствует молчание, но что делать? — для одного стола достаточно и трех внутренних богатых личностей. Кто-то должен быть простофилей и шутком для контраста и приятности времяпрепровождения.

«Здравствуйте, Зина. Приятная неожиданность». — «Почему?» — «Не думал, что встретите меня». — «Но ведь мы договаривались. Первым автобусом...» — «Вы всегда верите уговорам? Знаете, как я рисовал себе свой приезд в Жаброво? Вхожу в избу, а вы встречаете меня с заспанным лицом и в домашнем халате». — «В избу? Мы в доме живем». — «За вами бежит коза и уличающе блеет. Вы гневно удивляетесь моему легкомыслию».

Золотокаймовым графинчиком завладевает братец. Вопрошающе подымает на тебя глаза, но ты, как петрушка, браво и отрицательно качаешь головой.

— Вино. — Ниже все равно тебе уже не пасть.

«Вам не холодно?» — «А что? У меня посинели губы?» — «Нет. Но, наверное, вода еще холодная». — «Я согрет сознанием своего героизма». — «Все равно. Вам надо выпить немного водки». — «Водки? Я предпочитаю молоко. Парное. Пригласите меня в Жаброво, и вы убедитесь в этом».

— Андрей великодушно показал мне сегодня свою последнюю работу, но я осрамился. Знаете, что я потребовал, неблагодарный? (Вера смотрит. Затягивается Вера — глубоко и медленно.) Я потребовал, чтобы небо было синим, а не зеленым. В крайнем случае голубым. Вообразите, какой гнев навлек я на себя этим неосмотрительным заявлением.

Вниз, в бороду, ползут хемингуэевские морщинки. Доволен и добр и, в общем-то, я люблю тебя, младший брат... Поклонись! Скорее поклонись и снова неси чушь, улыбайся до ушей. Тебе нечего терять, потому что ты единственный за столом, а может быть, и во всем ресторанном зале, который ничего не ждет от сегодняшнего вечера.

«Парное молоко. Вы говорили, любите».

Обожаешь. Хотя, если начистоту, ни разу не пробовал. Ну и что? Скоро, скоро исправишь этот проibel.

¹ Учительница (нем.).

— А ваш муж смотрит сейчас телевизор?

Надо же дать понять, что ты разглядел ее обручальное кольцо. Иначе есть не будет.

Подействовало: вилку берет.

— Мой муж? — Привередливо разрушает архитектурный ансамбль столичного салата. — Нет. Там нет телевизора.

Многозначительно и мрачно и к тому же не подымает глаз. Роскошные рыжие волосы. Ты не силен в косметике, но их цвет кажется тебе натуральным. Господи, уж не окочурился ли он? Или в таком случае кольцо носят на левой руке?

Молчи на всякий случай. Жуй и молчи.

— Он геолог.

Фу-у! Ты смеешься.

— Обожаю геологов.

Не улыбается. Изучает твоё лицо. Точки зрачков, тире черточек, удлиняющих глаза, — азбука Морзе. Братец с Верой вполголоса препарируют свои сложные отношения.

— А я вас другим представляла. — Это ты уже слышал, забыл только название фильма. — Андрей много о вас рассказывал.

Тоже сложности хочет?

— Он художник. Вы должны простить ему его фантазии.

Осторожно потупляет взгляд.

— Вы всегда пьете сухое вино?

— Не всегда. Иногда я пью чай.

Ты сумчатое, Рябов! У всех сложно, все решают проблемы, и лишь тебе все просто и ясно и ты расплываешься до ушей. Но будь хотя бы учтив — подыграй партнерше. *«Вы не находите, Лариса, что цивилизация превращает человека в автомат, в машину? Он не чувствует, он лишь мыслит»*. Чем не современный диалог? *«Как ни прискорбно, но это так»*. — *«Почему прискорбно? Изобретая самолет, люди, надо полагать, больше мыслили, нежели чувствовали»*. — *«В вас экономист говорит. Сперва люди мечтали летать. Как птицы. А прискорбно это потому, что думать умеют и машины, чувствуют же только люди»*. Стихи начнет читать. По-немецки или по-русски? *«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...»* Почему с помощью именно стихов все так любят демонстрировать свою утонченность?

Цветы. Живые цветы, которых в нынешнем году еще не видели в Жаброве.

«Только ты не обидишься, нет? Надо снимать бумагу, когда даришь».

Прекрасно, ты снимешь бумагу. Никакой опыт не проходит для тебя даром, а собственный тем более. Снимешь и: *«Это вам. Компенсация за парное молоко, которым вы, помните, грозились угостить меня. Натуральный обмен — зародыш экономических отношений»*.

А как, интересно, ты повезешь их в Жаброво? В руках? В портфеле? Именно портфеля и не хватало тебе для полной респектабельности. Гордо прошествуешь с ним через притихшую от изумления деревню.

— За творчество! — Lehgerin рюмку подымает. На человека искусства обращены ее кошачьи глаза.

Братец медлит. Я не прочь, если вы выпьете за меня, но, в общем-то, я сегодня скромн.

— У тебя есть? — Тебе.

Как чертик, выскочивший из шкатулки, вздымаешь вверх фужер с вином.

— За Станислава! (Ого!) За научное творчество. (Уточнение в сторону Lehgerin: я вовсе не игнорирую ваш тост, я диалектически развиваю его.) Будь здоров, старик!

Фейерверк великодушия.

«Поля тебя тоже любит. И Осин... с уважением к тебе относится». Видишь, я не эгоист. Я самоотверженно делюсь с тобой любовью, которая предназначена мне одному.

Пьешь.

«Тебя можно уважать, можно восхищаться тобой, завидовать, но любить — нет». — «Разумеется. Для этой цели существуешь ты». — «Иронизируешь? Ты надо всем иронизируешь, даже над собой, мне кажется...» Еще бы! «Те, кто мало знает тебя, принимают твою иронию за броню. Они думают, ты прикрываешь ею свое легкоранимое сердце. А ведь ты ничего не прикрываешь. Ты пуст, потому тебя можно жалеть, но нельзя любить».

«Эти цветы — компенсация за парное молоко, которым вы обещали угостить меня».

А ведь ни в какое Жаброво ты не поедешь.

— Ваш брат такого мнения о вас! Он считает, вы многого добьетесь.

Из металла соткано ее узкое платье — сверкает и струится в электрическом свете, как елочное украшение.

— У вас красивое платье.

— Danke. Sprechen Sie Deutsch?

— Ein bischen ².

Вот видишь, и у вас начался разговор с подтекстом. Сложные, внутренне противоречивые люди. Назовите человека подлецом и хапугой — он не так обидится, как если вы отнесете его к разряду элементарных личностей.

Вздрагиваешь от неожиданности — музыка. Но это же чудесно! Слушай и потягивай себе вино, оценивая букет, вкус и что там еще?

«Когда-нибудь, когда ты все поймешь, тебе очень скверно будет, но ты даже напиться не сможешь. Твой мозг слишком живуч, чтобы опить его». Тут, пожалуй, братец прав. Ум твой не тускнеет от водки, лишь желудок реагирует на нее, причем не самым изысканным образом.

А почему вдруг тебе будет скверно?

— Ihre Aussprache ist nicht schlecht ³.

Сейчас официантка начнет менять скатерть: решит, вы иностранцы.

— Спасибо, но ростбиф лучше. — Иначе не перейдет на русский.

— Лучше чего?

— Моего произношения.

Отрезав кусочек, с аппетитом кладешь в рот. Тебя всегда подмывало узнать, о чем говорят женщины наедине с другими мужчинами. О чем-нибудь менее отвлеченном, надо думать.

Финал: всеми четырьмя конечностями пляшет ударник на инструменте.

Тишина.

— ...Так я не смогу, Андрей. Ты знаешь, как я отношусь к тебе, но так я не смогу.

Вот о чем говорят женщины с другими мужчинами.

Братец мрачно наливает себе водки. «С кем ты сегодня будешь? С Верой?» — «Да. Чему ты улыбаешься?» — «Радуюсь твоему постоянству». — «Я всегда с ней буду». — «А-а».

Неторопливо запиваешь мясо минеральной водой. Вера сигарету достает — нервные маленькие руки. Веки не подымает, но под ними, угадываешь ты, блестят глаза. Братец зажигает спичку. Терпеливо ждет секунду, другую, прежде чем она, заметив огонь, точно и быстро прикуривает. Затягивается, выпускает дым через нос. Тонкие ноздри трепе-

² — Спасибо. Вы говорите по-немецки?

— Немного.

³ У вас неплохое произношение.

щут. Чуть приметные голубые прожилки на белках глаз. Черные волосы гладко зачесаны — по-старинному. Тугой пучок сзади. Не глядя ставишь бокал с водой, сосредоточенно работаешь ножом и вилкой.

«Ты не знаешь, что такое любить женщину. Волноваться, дрожать, что она не придет вдруг, заранее рисовать себе, как откроется дверь, как войдет она, что скажет, как посмотрит на тебя. О какой-нибудь ерунде заговорит, взглянет мельком и сейчас же примется снимать шляпку, но ты видишь: она твоя». — «Весьма заманчиво, только на меня это, к сожалению, не распространяется. У меня нет двери, в которую может войти прекрасная незнакомка». — «Не понимаю». — «Я говорю в самом прямом смысле». И для наглядности киваешь на дверь, за которой царапается еж Егор Иванович. «Слушай, а ведь ты пошляк. Ты грязно относишься к женщинам. Это дико звучит, но, наверное, даже девственник может быть пошляком и развратником. Я только сейчас понял это». — «Каюсь, я Дон Жуан». — «Ты? Нет. Дон Жуан благоговел перед женщиной, он искал в ней идеал, который жил в нем самом. За это они и любили его. Он возвышал их. Мужчина, который не благоговееет перед женщиной, мертвец и пошляк. В женщине человечество сохранило все самое лучшее, что есть у него. Ты никого не любил. Я не упрекаю тебя за это. Наверное, я тоже никого не любил — по-настоящему. Но я верю, что когда-нибудь это будет. Ради этого я пожертвовал бы всем. Для тебя же любовь — всего-навсего дверь в отдельную комнату».

В музыке голос закопошился, рядом. На Lehreğin смотришь.

— Простите.— Включаешь слух.

— Вы озабочены чем-то?

— Нет, заслушался.— Взглядом гладишь оркестр. Да здравствует какофония звуков!

Ты поедешь в Жаброво! В субботу, непременно!

— Как относится ваша жена к тому, что вы задерживаетесь после работы? И от вас пахнет вином? Sie riechen nach Wein⁴.

— Переводить не надо — по-русски я понимаю.— Амортизируешь улыбкой.— Жена относится к этому с пониманием.

— У вас прекрасная жена.

— Ваш муж лучше. Он вообще никак не относится к этому.

— Если б он был здесь...

— Вы позволите? — Томный красавец с усиками. Рука изящно протянута к локтю твоей дамы, но обращается к тебе.

Едва с кресла не привстаешь.

— Ради бога!

Частые шажки: слишком узка юбка. Длинные ноги слегка подламываются. Как на шарнирах тело. Платье змеится и сверкает.

«Лариса, я поздно сегодня.— Суховато — все еще не простил ее крымский фокус.— Надо встретиться с одним человеком». «С Минаевым? — Потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить фамилию.— Насчет кооператива?» Все верно: с одним человеком — значит, с нужным человеком. Логика абсолютной веры в тебя: ты не станешь транжирить время на пустяки. «Нет. С Минаевым завтра». «А сегодня?» Сегодня? Что у нас сегодня? Репетиция завтрашнего торжества. Симпозиум учеников профессора Штакаян. Все что угодно может быть сегодня, но супруга не спрашивает, ты лишь слышишь в трубке ее близкое дыхание, а потом — еще ближе: «Постарайся пораньше. Я буду ждать».

Добавляешь воды в бокал. Душно... Ближе к Вере двигается брадец — вместе со стулом.

Почему тебе так важно знать, как другой вел бы себя на твоём

⁴ От вас пахнет вином.

месте? Ты похоже разыгрываешь перед супругой обиду и гнев — еще в детстве ты смешно копировал близких, — но ведь это не ты, это она своим покаянным видом надоумила тебя нынче утром рассердиться на нее: сам бы ты, признайся, не додумался до этого. Внеочередное дежурство во время эпидемии гриппа — как ни напрягай воображение, трудно усмотреть здесь что-либо предосудительное. Но тогда позвони в клинику, спроси, кто дежурил в ночь с субботы на воскресенье.

«Слава, ты? Не ужинал еще? Я так и знала! — С упреком. — Ешь, не жди меня. Мы тут у Стахеевой — вся компания, из нашей группы. — Поразительно говорит она по телефону! Она говорит по телефону так, что твое ухо ощущает ее щекочущее теплое дыхание. — Нина Иванчук приехала — в командировку. Я задержусь немного», — с полувопросом, навстречу которому ты уже летишь со своим «да-да, конечно» и даже передаешь неведомой Нине Иванчук пламенный привет. «А может, подъедешь? Тут все свои». Увы! У тебя срочная статья, у тебя реферат, у тебя лекция завтра — привет, привет, привет Нине Иванчук!

Снег, мороз. Фонари на пустой улице. Первый час ночи. Черт бы побрал эту Нину Иванчук! Постукиваешь нога об ногу... Двое. Издалека узнаешь — по рыжей шубе, искристо вспыхивающей под фонарями. В темноту отступаешь, что, впрочем, излишне: у нее неважное зрение. В кино, когда гасят свет, надевает очки... Поодаль останавливаются; если приглядеться, можно разобрать, что делают, но тебе нет до этого дела. Старательно разогреваешь ноги. Мороз, поздно. Было б свином, если б кто-то из бывших сокурсников не вызвался проводить. Сейчас, когда она познакомит вас, ты с благодарностью пожмешь ему руку... Торопливый перестук каблучков о промерзлый сухой тротуар. Одна. Ну что ж, стало быть, не состоится знакомство. Шаги медленней, глуше — что за тень впереди? — но почти тотчас же вновь ускоряют каблучки свой веселый бег. «Ты? — Приятно удивлена. — Добрый вечер. Давно стоишь?» Ухмыляешься и молчишь. А почему, собственно, она должна докладывать, что кто-то провожал ее? Равенство и полное невмешательство в личные дела — современная здоровая семья. «Засиделась. Хотела сбежать, но где там! Отпустят разве! — Иней на воротнике от дыхания, но не везде: чьим-то неосторожным прикосновением сбита с длинных ворсинок сверкающая одежда. — Замерз? — Заботливо, огорченно: такой холод! — А мне ведь телохранителя выделили. — Со смешливостью, которая непостижимым образом разъединяет вас, хотя так ласков и доверителен ее грудной смех, а глаза с расширившимися зрачками совсем близко. — Четверо мальчишек было — с нашего курса все. Рыцарски распределили обязанности». В отличие от нее ты не находишь тут ничего смешного. «Тебе невежливый конвоир достался. До дому не довел». «Так и скажу ему, если увижу». «Увидишь»...

Задохнувшись от истомы, умирает музыка. С почетом на место доставлена Lehtegin. В кресло плюхается.

— Пожалуйста, налейте воды.

Наливаешь. Пьет, медленно запрокидывая голову на длинной шее.

Ставит фужер на край стола. Не свалился бы. Откинувшись, глядит на тебя издалека. Сейчас дразнить начнет. Улыбаешься, капитулируя. Так затребовавший пощады секундانت выбрасывает на ринг полотенце.

— Экономисты презирают танцы?

— Не умеют.

«Мой муж там, где нет телевизора». Одна живет? Отдельная квартира в центре города? Сегодня ты еще не раз разочаруешь ее.

— А геологи владеют этим искусством?

— Геологи? — Длинно обнажаются в улыбке розовые десны: мне смешон ваш вопрос! — Мой муж превосходно танцует!

— Вам повезло.

— Heute habe ich das begriffen⁵.

А ты полагаю, тебе так легко сойдет безразличие к прелестям шарнирного тела?

Настольная лампа, тишина, непрочитанная статья Мирошниченко в мартовском номере. Сегодня ты разве что просмотришь ее.

«Нет-нет, разговор этот нельзя комкать. Потерпим до завтра». Рубаха-директор. Потерпим, конечно, но это не то, о чем ты думаешь. Кого-кого, а уж тебя Марго проинформирует в первую очередь, реши она подать заявление. Преемник... Что ж, она не раскается в своем выборе.

— Ich bitte Sie den nächsten mit mir zu tanzen⁶.

— Меня? И вам не жаль своих туфель?

— Иногда надо рискнуть.

Бедовая женщина!

Журнал со статьей Мирошниченко пришел в четверг, а сегодня уже понедельник. Лоботрясничает четвертый вечер подряд, завтра — пятый...

«Извини, Андрей, но сегодня не могу. Я должен посидеть еще». Пороха не достало. Разве это мужчина, если он предпочитает обществу молодой и свободной женщины с отдельной квартирой сомнительную статью об определении себестоимости работ! Оказывается, и в тебе тлеет инстинкт стадности.

Осмотришь: может, не ты один, может быть, все так — лишь делают вид, что упиваются этим ресторанным смрадом. Осмотришь, Рябов. Бутылки, дым сигарет, парящее от счастья лицо блондина в круглых очках, улыбки ползут, упоение, восторг, ожидание. Карнавал чувств, беспардонная инсценировка страстей — от скуки, от ленивой неповоротливости ума. Но ведь и ты поедешь через три дня в Жаброво?

Музыка. Твое тело настроенно замирает. И в Жаброво поедешь и пригласишь сейчас свою даму.

— Gestatten Sie?⁷

К пятаку шествуете. Блондин в круглых очках, массивный, как Пизанская башня, навис над пухленькой партнершей. Оркестр неистовствует. Ты ухмыляешься. Ты не знаешь, как взять Lehrgip, но она уже прильнула к тебе и твои ноги одеревенело топчутся...

Что-то случится сейчас: или коленкой лягнешь, или оттопчешь туфли. Бдительно предугадываешь каждое ее движение. Гибкое тело под елочным платьем. Это должно волновать тебя.

Откинув голову, близко глядит на твое порозовевшее от напряжения лицо. Изучает — авось пригодишься. Геолог ищет себе нефть, а квартира тем временем нерентабельно пустует. Скучно! Ох, как скучно! Навоз, слякоть, лошадь с красным крестом на боку — жабровская «скорая помощь». И вдруг — море, пальмы. Какой мужчина не покажется принцем в этаким обрамлении! А тут еще он сигает в студеную воду спасать мальчугана — в майке и трусиках. Ну чем не рыцарь? Женат, правда, но для истинного чувства это разве преграда?

«Я знаю, что буду счастливой. Я это однажды поняла. Лежала на скамейке — узенькая такая скамейка, на могиле у мамы, чуть пошевелишься — и упадешь. Я на спине лежала. А надо мной, очень высоко, верхушки сосен раскачивались. Я смотрела на них, ни о чем

⁵ Сегодня я поняла это.

⁶ Я приглашаю вас на следующий танец.

⁷ Разрешите?

не думала и вдруг поняла, что буду счастлива. Очень-очень. Аж дух захватило. И стыдно стало: на кладбище, на маминей могиле и — такое».

А ведь в тот момент, признайся, ты не уловил сентиментальности в ее словах. Умилили... Надо думать, на тебя тоже подействовала романтика юга. Кипарисы, прибор — какая девушка не покажется принцессой в таком обрамлении!

Продолжай, Рябов, хорошо. Не надо думать о ногах — самим себе предоставь их. Вот только как долго еще будет длиться это очаровательное танго? Самоуглубленные замкнутые лица — делом заняты люди. На узкой спине, обтянутой красным, — мужская, с растопыренными пальцами рука. Часы на волосатом запястье — рукав съехал. Золотой корпус, люстра горит в циферблате. Чуть наклоняешь голову, и люстра уходит. Девяти нет — неужели? Будь мужествен, Рябов: гений — это терпение.

11

Оживаешь на свежем воздухе — даже к настольной лампе, светочу знаний, тянет не столь сильно. Буклистое пальто-макси, шапка-дикообраз... Тебе нравится, когда женщина одета со вкусом — одно это стимулирует настроение. К тому же разве предполагал ты даже в самых дерзких своих планах, что уже в половине одиннадцатого вы очутитесь на улице?

«Мне пора». Вера щелкнула своей миниатюрной сумкой. Братец отрешенно взирал на пустой графин. Мысленно усмехнувшись — она надеется увести его отсюда! — ты честно проявил мужскую солидарность: «Так рано?» «Я обещала сыну вернуться к одиннадцати». Дабы скрыть удивление, кивнул, как болванчик, — Вера чрезвычайно нуждалась в твоём одобрении. «Сколько сейчас?» Братец не сводил глаз с графина. «Десять минут одиннадцатого. Поешь». Он послушно взял вилку. Что с ним? Он не заказывал больше водки. Он даже не допил вино, которое осталось в бутылке. Он встал, едва вы расплатились — не ты один, вдвоем. Ты не узнавал Андрея Рябова. Когда вы направлялись к выходу, вступил оркестр. Не туш ли?

— Сколько лет Вериному сыну?

К театру подходите, храму тетки Тамары.

— Шесть.

— А у вас... — Но неожиданно срывается твой голос. Прокашливаешься. — А вы еще не обладаете таким сокровищем?

Вспыхивает, гаснет, снова вспыхивает неоновая реклама — голубой ответ играет на посерьезневшем лице твоей спутницы.

— Нет.

В ресторане она была многословней. Отрезвела? Ранним уходом опечалена? Или это ты виноват?

— Ваши ученики не ухаживают за вами?

Ей идет ее шапка-дикообраз.

— Они всем скопом влюблены в меня.

Загадочная женская душа: чем все-таки ты разгневал ее? Будь погалантней, Рябов, скажи комплимент.

— Я понимаю их.

Двери распахиваются, и зрители неспешно покидают храм.

— А у вас есть дети?

«У меня нет даже ежа».

— Предпочитаю платить малосемейный налог.

Берет, роговые очки... Виноградов? Как всегда, сосредоточен и подтянут твой молочный брат. «Здравствуйте, Юра. Как спектакль?»

Получили эстетическое наслаждение?» «Спасибо, у меня достаточно материала».

А ведь он не один. Лица не видишь, но тебе хорошо знакомо это просторное пальто, отделанное по краю подола искусственным мехом. У Люды такое же — самой красивой женщины института.

Тесно на тротуаре, и у тебя есть предлог придержать за локоть Lehgerin. Она, Люда. А почему, собственно, тебя удивляет это? Или ты полагал, что раз она отлынивает от шампанского, то ведет монашеский образ жизни?

— Нам прямо? — Ты бодр и беспечен.

— Да.

Повернув голову, изучаешь ее профиль. «Я приглашаю вас на следующий танец». — «Меня? И вам не жаль своих туфель?» — «Иногда надо рискнуть».

— Что вы на меня смотрите?

Хорошо развитое боковое зрение.

— Вы торопитесь?

— Не очень.

Не очень, но тороплюсь.

«Мой муж там, где нет телевизора». И отсюда ты заключил, что она живет одна. А любящая мама? А свекровь, которая ревностно следит за нравственностью невестки?

— Беспокойтесь, что остынет ужин?

— Нет, не беспокоюсь.

Обходит лужу — небрежно и о тебе не заботясь. Если не устраивает, отпустите мою руку и обойдите тоже. Перешагиваешь.

— Есть кому подогреть?

Полуобернувшись, мерит тебя взглядом.

— Некому подогреть. Я живу одна.

Разгульно улыбаешься. «Если желаете, можем зайти выпить кофе. У меня растворимый». «Спасибо, но мне надо еще поработать. Статья некоего Мирошниченко. Почти детектив».

— И вас не угнетает одиночество?

Вторник, среда, четверг, пятница... Ты не принадлежишь себе се-годня.

— Есть уйма способов развеяться.

Воротник, морозно заиндевевший от дыхания, остров голых ворсинок — чье-то прикосновение сбило с них серебристую одежду... Ты мелочен и недемократичен, Рябов, в отличие от твоей жены, которая верит тебе беспредельно.

— Сегодняшний вечер, вероятно, относится к таким развлекательным мероприятиям?

— Вероятно.

А ведь она не собирается приглашать тебя на чашку кофе.

— И он оправдал себя?

Сирена — негромко, сдавленно. Пожарная машина.

«Нет, не оправдал... Не совсем оправдал... А как вы думаете?»
«Лично я доволен. Я получил все что желал».

Разве это неправда? Разве не был ты единственным человеком за столом, а может быть, и во всем ресторанном зале, который ничего не ждал от сегодняшнего вечера?

— Нам сюда.

Что же, это право женщины — не отвечать на некоторые вопросы.

— Это не ваш дом горит?

— Нет.

— Вы уверены в этом? — Роль шута и простофили продолжаешь играть?

— Да.

— Почему же?

— Потому что мой дом вот.

Окидываешь взглядом архитектора. Четырехэтажный особняк из кирпичей и балконов.

— Ein neues Haus⁸.

— Не совсем.

А вот братец бы никогда не скатился до этого пошлого разговора. И уж разумеется не стал бы ждать, пока его пригласят на чашку кофе. *«Вы не хотите пригласить меня на чашку кофе?»* Вполне поджентльменски — избавить женщину от необходимости проявлять инициативу.

— Ein schönes Haus⁹. — Ты в восторге от дома.

Хилые голые деревца. Из разноцветных окон на землю падает свет. Она черна, оттаяла, и, как осевшая пена, желтеет снег. Жестяная консервная банка с задранной крышкой. С деревянной скамьи за вами настороженно следит кот.

— Ist das Ihre Katze?¹⁰ — Ты занимателен как никогда.

— Нет. У меня нет кошки.

Будь более дерзок, капитан, — женщины презирают рохлей.

— Мяу. — А почему, собственно, тебе не побеседовать с котом? — Не отвечает. Как по-немецки «мяу»? Или это интернациональное слово?

— Возможно. Надо будет посмотреть в словаре.

«Давайте вместе посмотрим».

В конце концов, тебе ничего не грозит. Для тебя это так — забава, эксперимент. В субботу ты будешь в Жаброве.

«Я пойду. Спасибо, что проводили. До свидания».

— Wollen Sie mir nicht eine Tasse Tee anbieten?¹¹

В доме играют на пианино.

Отрицательно качает головой.

— Warum?¹²

А ведь ты поклялся не задавать женщинам этого вопроса.

Парочка. В руках у нее ветка мимозы — весна! Провожаешь насмешливым взглядом.

— Спасибо за вечер. Мне пора.

Ты чувствуешь, как блестит и веселится твое лицо.

— Haben Sie keinen Tee?¹³

— Есть, но уже поздно. — Просто и откровенно: я не собираюсь уязвлять ваше самолюбие, экономист. — У меня завтра урок в восемь.

Eine Lehrerin!

Твои руки в карманах пальто. Тебе очень идет твоя мохеровая шапочка.

— До свидания. — Руку протягивает. Пожимаешь. — И не надо так плохо думать о людях! — горячо, горопливо.

«На пару секунд! Лида хоть глянет на тебя. Расстроится: был и не зашел. Мы как раз вспоминали о тебе вчера».

— О'кей! — говоришь ты тоном братца, но, кажется, говоришь не то. «Auf Wiedersehen»¹⁴ надо было, а вылетело «о'кей!».

Кот соскочил и бежит за Lehrerin. Учительница гуманно пропуска-

⁸ Новый дом.

⁹ Прекрасный дом.

¹⁰ Это не ваша кошка?

¹¹ Вы не хотите пригласить меня на чашку чая?

¹² Почему?

¹³ У вас нет чая?

¹⁴ До свидания.

ет его впереди себя. Нехорошо так поздно играть на пианино. К соседям неуважение.

Поворачиваешься, идешь. Легка и упруга твоя походка. Eine herrliche Nacht! Die Vögel singen¹⁵. Нет, птички поют, когда herrlicher Tag¹⁶. Но все равно — о'кей, как говорит братец. Или auf Wiedersehen, как говоришь ты. Вторник, среда, четверг, пятница.

Троллейбуса нет, но что за нужда — ты и пешком дойдешь. Статья Мирошниченко подождет немного. Вторник, среда, четверг, пятница и кусочек, совсем немного, понедельника.

Чего ради Lehrgin дала тебе дружеский совет — не думать плохо о людях? Видит бог, ты ничем не скомпрометировал себя. Тебе ничего не надо было от сегодняшнего вечера, ничего! Учужала, и оттого высокомерная холодность? «Это ваш дом горит?» — «Нет». — «Вы уверены в этом?» — «Да».

— Вас можно на минутку?

Двое — навстречу, из темноты.

— Конечно.

Гостеприимно улыбаешься. Никого вокруг. «Дай закурить». Приближаются. Чьи-то торопливые шаги, но далеко, за углом.

— Курить есть? — Коренастый, в заячьей шапке. Сперва его сбить: маленькие злее и жилистей.

— Нету. — Чистосердечно раскаиваешься в этом.

— А может, поищешь?

Длинный помалкивает, всматривается. Ухмыляясь, разводишь руками, но до конца не опускаешь. Неприметно отводишь назад правую ногу.

— Нету, ребята. Не научился. Вы уж простите меня.

Лужа слева. Поосторожнее, иначе шапочка из мохера — гордость твоего туалета — угодит в воду.

— Пойдем! — Длинный за локоть тянет коренастого соратника.

— Постой! — Высвобождает руку. — Деньги есть?

— Конечно. — Рот твой расползается. — А у вас?

— Пойдем, Миша! — За обе руки держит.

Тот вырывается, вернее — делает вид, что вырывается. Взглядом пронзает тебя.

— Я могу идти?

— Да-да, — торопится длинный. — Извини, парень.

— Пожалуйста. — Вежливо благодаришь наклоном головы, удаляешься.

— Напрасно удержал меня. — В спину, зло. — Я б пощекотал его, гада!

«Физически ты смел, не спорю, но, может быть, это даже не смелость». «Нет, конечно». Двоих ты обесточил сразу, а с третьим пришлось повозиться: он успел шмякнуть тебя камнем по плечу. Потом ты огляделся. Братца не было поблизости. Ты прошел с полквартила, прежде чем он виногато окликнул тебя. «Мне показалось, ты тоже убежал. У меня кровь пошла, я не видел ничего. Вот». Платок, темный от крови. Ты протянул ему свой. «Правильно сделал. Ты бы только мешал нам». «Какой я подонок! Никогда не прощу себе». — «Простишь». — «Физически ты смел, не спорю, но, может быть, это даже не смелость».

— Нет закурить?

Опять? Но не громила, нет, — услышав твое «не курю», торопится дальше. Со свидания?

¹⁵ Изумительная ночь! Птички поют.

¹⁶ Изумительный день.

«Первый автобус приходит к нам в половине десятого».

И суток не прошло — одиннадцать только. Сейчас завернешь и увидишь свет в окнах. Или только в одном окне — у стариков. Жена спит. А впрочем: «Постарайся пораньше, я буду ждать». Верит жена, вне подозрений твоя нравственность.

«Я напишу тебе, если смогу приехать». — «Не надо». — «Что?» — «Не надо писать». — «Почему? Всякое может случиться». Ты предусмотрителен. «Не надо. Что не сможешь приехать, не надо писать».

Странно, что ты никак не можешь представить себе ее лицо. Золотистые и прямые, до плеч волосы, а брови — темные... Но ведь это не девочка из Жаброва, это Люда, самая красивая женщина института. Она-то тут при чем?

Свет — во всех окнах. Не спят. Блудного сына ждут. Мужа блудного.

Автобус с потушенными огнями — и вчера стоял на этом же месте. Шофер живет?

«Что не сможешь приехать, не надо писать». Вдруг в последний момент обстоятельства изменятся, но письмо уже уйдет — тогда как? Этого боялась?

Ты глупец и трус: как смел ты подумать, что не поедешь в Жаброво? Ресторанный чад, сигареты, бесстыжая музыка... Маски, карнавал — возможно, но какое отношение имеет ко всему этому девочка из Жаброва?

«Вы разве не знаете? Архипенко на студентке женился — с пятого курса. Жена жалобу в партком написала».

Выбрось глупости из головы: еще минута — и ты предстанешь перед супругой, утомленный и деловой. Кстати, ты все еще дуешься на нее, не забыл?

12

У порога встречает отец. Седящая шевелюра, томик стихов в руке.

Я сидел у окна в переполненном зале,
Где-то пели смычки о любви...

Запах ванили и свежей выпечки. Внимаешь, исподволь расстегивая пальто.

...Обратись к кавалеру намеренно резко,
Ты сказала: и этот влюблен.

Захлопывает книжку. Можно дух перевести. Раздеваешься.

— Гордись, сын мой: твой отец создал сегодня шедевр.

Профаны работают на телевидении — такому мастеру отказать!

— Поздравляю. Шедевр декламации? Или кулинарии? — Втягиваешь носом воздух.

— Ага, почувствовал! Запах, один запах чего стоит! А шедевры декламации, между прочим, отец ваш всю жизнь создавал.

Не твой — ваш. Канун тридцатилетия дает знать о себе? «Я могу на завтра пригласить твоих родителей? От своего имени, если хочешь». — «Она не пойдет». — «А он?»

Вкусно прищелкиваешь языком, оценивая запах. Не миновать дегустации — после ресторанного-то ужина!

Супруга не выходит. Побудь с родителями, Станислав, я не ревнива; к тому же у нас с тобой целая ночь впереди.

«В субботу уезжаю. Одного сотрудника навестить надо. Он в санатории». «Это далеко?» «Да. — Во сколько последний автобус из Жаброва? — Возможно, не управлюсь одним днем».

Заглядываешь в комнату родителей. Директор фабрики на посту — в очках, над бумагами.

— Привет!

Заметив пальцем место в ведомости, оценивающе глядит поверх очков.

— Добрый вечер.

На мой материнский взгляд, что-то ты и сегодня странен. Уж не пошел ли ты по стопам старшего брата? «У тебя семья, ребенок, и ты предаешь все ради минутной прихоти. Мне стыдно, что ты мой сын».

— Мать, скажи-ка ему, как пирог.

— Вкусный. — Склоняется над бумагами — работа не ждет. Учись, Рябов: истинный руководитель всегда на вахте.

«Нет, Станислав Максимович, завтра поговорим, с утра, вы не возражаете?» Идя к Марго, ты уже будешь знать все.

Отцу не терпится — скорее же оцени его шедевр. Вымыв руки, бодро направляешься в кухню. Мужественно приступаешь. Не оплошай — видишь, с каким проницательным вниманием глядит на тебя автор.

Киваешь со знанием дела — гурман! Еще раз — уловил новый нюанс. Папа ликует.

— Мать три куска съела.

Еще бы! Такой вершины ей не покорить. Всю жизнь кормила вас переваренной лапшой или недожаренными котлетами. Не потому ли на склоне лет отец ударился в кухонное искусство?

— Знаешь, что было последней книгой Александра Дюма? Дюма-отца, прославленного автора «Трех мушкетеров»? «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго»...

Те самые растрепанные тома, которые диктор областного радио и его первенец рвали из рук друг друга? Ты тоже добросовестно брался за них, но бросал на половине. И это при твоём железном правиле до конца доводить всякое дело! Глупая, скучная вереница неправдоподобных историй... «Мне нравится наш отец. Он добрый малый. Как он там?»

— Последняя книга Александра Дюма — сборник кулинарных рецептов. Французская кухня, русская, английская.

«Отличный пирог, папа, хотя, признаться, я абсолютный профан в этом. А вот Андрей — специалист. Он бы, думаю, оценил его по достоинству. Завтра, кстати, его день рождения».

Не стоит без главы семьи. «Она не пойдет». У брата на этот счет нет иллюзий. И он прав. Конечно же, она не пойдет, однако ты обязан выполнить свой долг. Или потому и выполняешь, что уверен: не пойдет?

А вдруг? Ты отлично знаешь свою мать, но порой и она — даже она! — ведет себя непредсказуемым образом.

«А этот самый... Шатун... Его неожиданно схватило? Или какие-нибудь симптомы были? Ведь цирроз печени, насколько я знаю, не может развиваться сразу». Знаешь? Откуда, мама? Медицина никогда не волновала тебя, а от алкоголизма, слава богу, пока что никто не помирал в нашем клане.

— Будучи в России, Дюма специально изучал русскую кухню.

Понимающе наклоняешь голову.

— Поездка с просветительскими целями? — На два укуса осталось, но не надо спешить, иначе придется жевать еще порцию. — Ты выходной завтра?

— Да. У него был роскошный замок, он принимал в нем гостей и угощал блюдами собственного приготовления.

«Хороший человек. Жаль только, романы писал». Оставь иронию — она торпедирует миссию мира.

Идет. Придерживаешь у рта завершающий кусок. Синеватый след на переносице — два часа, не меньше, прокорпела над бумагами.

— Есть с кооперативом новости?

Супруга проинформировала...

— Завтра, мама. Сегодня не видел этого человека.

Что означает мимолетный вопрос в усталых глазах директора фабрики? Недоумение? Завтра день рождения брата, а ты наметил деловую встречу? Пижон, ты плохо думаешь о своей матери. «Запомни, Андрей: если бросишь ребенка, я не хочу больше знать тебя. Это не пустая угроза, ты знаешь. Это крайнее средство. Я не очень надеюсь, что оно поможет, но если я не воспользуюсь им, я перестану уважать себя». «Не бойся, мама: ты никогда не перестанешь уважать себя».

Ой ли! «Пожелтели глаза? Но ведь это уже почти перед смертью. А раньше? Были же раньше какие-то симптомы?» Чего вдруг так заинтересовала директора кондитерской фабрики клиника болезни вашего несчастного соседа? Что ей этот асоциальный тип с его циррозом и грозно желтеющими глазами? Какие тревожные параллели породил он в ее материнском мозгу? Праздное любопытство и показная гуманность — сроду не водились за ней подобные грешки. Как и склонность к рефлексии. Компромисс и мама — понятия несовместимые. Быть может, как раз в этом и сила ее? Не слабость, а сила?

— Отменный пирог! — Вытираешь салфеткой пальцы. — Нельзя ли завтра на бис повторить?

— На бис? Слышишь, мать, на бис! Не-ет, так вас избалуешь. Ши да каша — пища наша. Завтра будет свежий судак.

Последние часы подледного лова — до именин ли тут!

— Из «Нептуна»?

Оскорбленно встряхивает седеющей шевелюрой. А чем ты будешь встряхивать в его возрасте? Ушами?

— Хотел бы я посмотреть, какого судака поймает ты в «Нептуне». Мерлуза да треска. И еще эта, как ее? Блины — я ее называю.

— Камбала?

— Камбала.

Мама не участвует в диалоге — столь низкие предметы не занимают ее ум. Высока и прекрасна ее орбита, но ты, верный долгу, вынужден заземлить ее.

— Рыбак ты прекрасный, отец, но кулинар еще лучше. — Сыто хлопаешь себя по животу. — Завтра на бис надо повторить. С цифрой «тридцать». Ты можешь выложить цифру «тридцать»? Из мармелада или чего там.

Тускнеет, опадает вдохновенное лицо диктора областного радио. Взгляд в сторону уползает. Руки ищут чего-то, но не находят, а матери — сухие и быстрые — невозмутимо смахивают крошки со стола.

— На мясном пироге — из мармелада... — Сопит и на тебя не смотрит: все так славно было, я шедевр создал, а ты пришел и испортил все. Зачем?

— Ты прав: мармелад плохо сочетается с мясным фаршем. Но у тебя блестящая фантазия, папа, ты придумал что-нибудь.

Мама аптечку открывает. Давление? Весна, время кризов, суровая пора для гипертоников.

Быть может, не следовало затевать этого разговора? Или аптечка всего лишь тактический ход, долженствующий продемонстрировать принципиальность мамы? Прошу не обращать на меня внимания —

лично я не участвую в этом никчемном диалоге. Я своих мнений не меняю. Полагаю, Максим, ты тоже будешь достаточно последователен.

Папа мечется. Конечно, он вполне суверенен, диктор областного радио, но воля и незапятнанный авторитет главы семьи грузно давят на него.

«Почему ты молчишь, Максим?» «Да, конечно... Ребенка жаль... Но... Я не знаю... Вообще-то другие разводятся. Может... Может, он любит другую?» — не без страха выговаривает папа и попадает в точку. Необъяснимо пронизателен порой витающий в облаках, краснобайствующий и трогательно поверхностный папа. Они усыпляют твою бдительность, эти его прелестные качества, а между тем с ним надо держать ухо востро.

Любит другую! — экое богохульство, но тем не менее глава семьи настроена снисходительно. И этот постыдный вариант готова обсудить она. «Мало ли кто кого любит. На свете есть еще кое-что кроме любви. И кроме собственной персоны, которую нас так тянет убажывать».

Тянет, мама, тянет. И не только собственную.

«Лук отдельно, Андрей не ест с луком». «То есть как отдельно? — негодует гурманская душа Максима Рябова. Один из первых и, стало быть, один из самых сильных приступов кулинарного зуда. — Что это за вареники с картошкой — без лука?» Мама не отрывает глаз — тогда еще не очков, а глаз — от бумаг: вот как важны для нее цифры и графики и вот как не важны вареники, о которых она упоминает лишь к слову, лишь истины ради. «Я не говорю: без лука. Только не надо класть его внутрь. Каждый себе посыплет». Папа сердится. Кухня — его вотчина, и он не желает терпеть чьих бы то ни было вмешательств, пусть даже главы семьи. «Он всегда любил с луком». «Никогда», — замечает мама и сосредоточенно перекладывает на маленьких счетах пластмассовые костяшки.

А ты? Как ты любишь — с луком или без? И вообще какие блюда предпочитает младший сын, кроме холодного кефира и сырка с изюмом? Мама этого не знает. Ты не обижаешься на нее, ибо этого не знает никто, и ты в том числе. По-видимому, у тебя нет любимых блюд. Пробел в твоём мировосприятии!

— Пойду спать. — Отец сопит, хмурится, к пирогу, чуду кулинарии, интерес потерял. — Завтра вставать рано.

Седеющая грива — лев, но старый, пообтертый.

Пузырек раунатина в руках — стало быть, не тактический ход; стало быть, ничего не собирается демонстрировать мама. Напротив, стоит спиной к вам, и ты, как ни стараешься, не можешь подглядеть, сколько таблеток выкатывается на ладонь. Это и твое будущее лекарство: гены директора кондитерской фабрики несли в себе не только работоспособность и обостренное чувство долга, но и раннюю склонность к гипертонии. Ты знаешь это и ты начеку. Ни крепких бодрящих напитков, ни ночных бдений, строжайший режим, основа которого — чередование работы с активным отдыхом.

А она? Опять это нелепое ощущение, что ты холишь свое здоровье за счет кого-то. Не кого-то — ее. Но ведь это совершенная чепуха, ибо хотя бы раз нервничала она из-за тебя?

Глотком холодного чая запивает. Всего глотком — значит, одна таблетка.

При чем тут ты? Да, ты делаешь по утрам зарядку, да, ты плаваешь, но ведь если ты расхвораешься, как говорит Марго, ей от этого легче не станет. Наоборот! Разумеется, наоборот, хотя она и не знает твоего любимого блюда. Пока что, слава богу, ты не принес ей этих огорчений. Вообще никаких.

«А тебе не кажется, что ты преступница по отношению к нам — еще большая, быть может, чем я к своей дочери? Ты лишила нас самого святого, что может быть у человека: любви к матери. Мы ведь не любим тебя — ни я, ни Станислав. Уважаем, боимся, преклоняемся, но — не любим. Я сиротам завидую: у тех хоть мечта есть, что их мать была самой прекрасной, самой доброй женщиной на свете».

«Говори за себя, дорогой. За себя!»

У тебя и сейчас не повернулся бы язык сказать такое. В этом доме лишь диктор областного радио имеет право на прочувствованные речи — большой, милый ребенок. А как, интересно, ты мог отмежеваться от речей брата, не впад при этом в сентиментальность? Не мог. Почему же тебе до сих пор так не по себе от того давнишнего молчания? Да и молчания, строго говоря, не было: ты иронически гмыкнул. Не густо, но ведь у тебя очень емок этот звук — чего только не выуживает из него братец!

— Спокойной ночи, мама.

Не тревожься, я больше не стану докучать намеками о завтрашнем торжестве.

Щель светится в двери — не спит супруга, ждет. Чистишь зубы, умываешься — долго и тщательно. Замашки инквизитора прорезались в тебе, Рябов! Худо! Словно шлаком завален ты необязательными вещами: натужный флирт с Lehgerin, на супругу гнев по ее же шпаргалке, наивные попытки примирить родителей с сыном, о Жаброве мечты... Стесняясь своего голого лица, малодушно напяливаешь на него маски: смотрите, я такой же, как все. Ну так будь последователен, надень обиду — ты входил в комнату.

Крахмальная свежая постель о двух подушках. Одеялом полуприкрыты кружева ночной сорочки. Читает в ожидании мужа. Роман про любовь? Хорошее дополнение к вечернему интерьеру. Не только же на твоих лекциях читать романы.

Сядишься за письменный стол спиной к супружескому ложу. Запах духов — мелькнул и нету.

— Ты работать еще?

Зажигаешь лампу.

— Где шарф Штакаян?

— В шкафу. Надеть хочешь? -- Удивление: супруг всегда был так разборчив в одежде.

«Да. И спать в нем».

Журналы берешь. Свежий, что сегодня пришел, лежит отдельно — чутка и предупредительна жена ученого.

— Передавали, завтра пять градусов тепла.

На крещенские морозы рассчитан подарок Марго — зимой вязала, в холод.

Пробегаешь оглавление. Чесноков — о внутрихозяйственных плановых ценах.

— Завтра, — интересуешься, — нет ночного дежурства?

В крайнем случае можешь явиться и один на юбилейное торжество — братец не обидится.

— Завтра же у Андрея день рождения. — С нежной готовностью пожертвовать собою: твой брат, знаю я, не пылает любовью ко мне, но ради уважения к тебе — слышишь, не ради него, а ради тебя! — я считаю себя обязанной пойти на именины.

Профессор Капрович. Это ас, этого непременно надо прочесть, и не кое-как, а на свежую голову.

— У Тамары собираются?

И Тамара, знаю, не встретит меня с распростертыми объятиями — что ж, тут нет ничего удивительного; я тоже не в восторге от твоей

тети — на мой взгляд, она претенциозна и завистлива, но какое это имеет значение, раз у твоего брата день рождения? Я пойду.

Спасибо.

— В семь часов.

Размахнулся, однако, Капрович — печатный лист, не меньше. Тебе не дали бы столько. Справедливо: уровня старика ты не достиг пока.

— Там помочь, наверное, надо. Я могу раньше подойти.

Видишь, на какие жертвы готова я ради твоего брата? А ты мелочишься, ты не можешь простить, что я не смогла отказаться от внеочередного дежурства. Но ведь я врач, Станислав, как ты не понимаешь этого?

— Не надо раньше.

Гитарин — не тот ли? Ну конечно, Е. Гитарин, он самый. И все та же маниакальная идея: упразднение деления рабочих на основные и вспомогательные.

Что, однако, беспокоит тебя, кандидат? Крахмальная постель о двух подушках? Ну брякнись в нее — кто запрещает тебе?

«Я еще в агентстве поняла, что ты с женой собиравался. Когда ты мне путевку дал. Там «Рябова» стояло».

Смешны и старомодны твои сомнения — братец в улыбке покривил бы свой заросший бородой рот. *«В праведника играешь? Гримируешь под любовь заурядную курортную интрижку? Мини-интрижку. Это похоже на тебя, ты ведь все привык делать фундаментально. Но если это любовь — брось все и уйди. Как я. Как доцент Архипенко. (Об Архипенко братец не знает.) Ты ведь созидатель, а не разрушитель. Полезный человек. По этому поводу Бодлер... (Ты не путаешь? Бодлер, — он любит пожонглировать этим именем.) Бодлер по этому поводу сказал следующее: гнусность, считаю я, быть человеком полезным».*

Скажи мне, кто твой кумир, и я скажу, кто ты.

«ПРИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЖДАТЬ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАДАЧ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛУЧЕННЫМИ НА КАКОМ-ТО ЭТАПЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ»... Капрович — его вязкий стиль. У иного студента язык богаче и выразительней. Но все же ты предпочитаешь читать Капровича, нежели Е. Гитарина, который, отдай должное, не уступает тебе в живости изложения.

Ты не только старомоден, ты еще и ханжа. Пойти в ресторан с Lehgerin, напрашиваться к ней в гости не считаешь аморальным, а здесь ты крепок, как настоятель монастыря.

«...МЕТОДИКА ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОКРАЩЕННЫХ ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ...»

— Ты не скоро?

Оставь Капровича, сейчас ты не осилишь его.

— Поработать надо.

Мартовский номер, статья Мирошниченко. Вступительный абзац, еще один... Три вступительных абзаца! Кошмар.

Скрип тахты. Не хочет спрашивать, срочно ли это.

«...ПРИ КОТЛОВОМ СПОСОБЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАТРАТ МЕЖДУ ЗАКАЗАМИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ПЛАНОВОЙ СТОИМОСТИ».

Встает? Это еще зачем? Точно, встает. Не отвлекайся, профессор!

Ныне стало хорошим тоном обрушиваться на котловой способ. Даже ты боднул его на сегодняшней лекции — неблагородно-с.

Что-то делает за твоей спиной. Халат надевает?

«...ЭТОТ ПРИНЦИП УЧЕТА НЕСОВМЕСТИМ С ПРИНЦИПАМИ

ХОЗРАСЧЕТА, ТАК КАК СНИЖАЕТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ФАКТИЧЕСКИМИ... ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ...»

Твой дисциплинированный взгляд не отрывается от журнала, но видит, видит в полуметре от тебя белоснежный, махровый, до пят халат с откинутым капюшоном. неподвижен.

Итак, нельзя установить... Что нельзя установить?

Тихо садится.

«...НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ, ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ПЕРЕРАСХОДЫ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВИНОВНИКОМ...» Сидит и смотрит. Просто сидит и смотрит. «...КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВИНОВНИКОМ...» Правда, кто?

«Ты все еще сердисься на меня?» «Я? Нисколько. У тебя замечательные духи». И это правда, ибо духи — тоже твой подарок. Тебе нравится, когда от женщины хорошо пахнет. «Почему ты сердисься на меня? Ведь я не могла поехать, ты знаешь. Или ты не веришь мне?» «Ну что ты! Жена Цезаря вне подозрений». Это обидело ее, и напрасно. Ведь не над ней иронизировал — над собой. Только над собой.

«Она красивая у тебя. — В чем, в чем, а уж в этом братец знает толк. — Но... — Не договорив, размышляет. — Если бы я писал ее портрет, я бы знал о ней все». «Попроси. Может, согласится попозировать». «Она твоя жена». — «И что из этого следует?» — «То, что я не буду писать ее». — «А-а». — «Ты опять понял меня грязно. Я не буду писать ее вовсе не поэтому. Я думаю, она подходит тебе. Она даст тебе все, что ты рассчитываешь получить от брака».

И долго она намерена сидеть так?

«Если не веришь, можешь позвонить Маркину». Хороший человек Маркин!

А что, собственно, ты рассчитывал получить от брака?

«Постарайся пораньше, я буду ждать». И дождалась. Я дождалась тебя, Станислав! — а ты уткнулся в свою дурацкую статью.

«...ЭТОТ ПРИНЦИП УЧЕТА НЕСОВМЕСТИМ С ПРИНЦИПАМИ ХОЗРАСЧЕТА, ТАК КАК...» Тут ты права, дорогая, статья дурацкая. «Так почему же ты мучаешь меня из-за нее? Я и так весь день как на иголках. Рецепт неправильно выписала». «Халатность врача преступна». «Ты только и думаешь о своем приоритете. На работе, дома — везде. Самый умный, самый добрый, самый честный. Лучше бы ты пьяницей был!» «От пьяниц рождаются ненормальные дети». На это у тебя не достало духу — побоялся выдать себя. И без того ты был где-то неосторожен, если папу угораздило вдруг продекламировать тебе — не ей, а тебе! — стихи про младую рощу, которая теснится около корней устарелых, а вдали стоит один угрюмый их товарищ. «Угрюмый! — под черкнул он с воздетым к потолку указательным пальцем. — Ты-то понимаешь это, я знаю, а вот она...» Откуда взял папа, что ты понимаешь? Твоя неосмотрительность повинна тут или та самая чудесная пронизательность, которая порой необъяснимым и опасным образом снисходит на диктора?

На диктора-то снисходит, а вот ты... Нет, этого не может быть. А почему, собственно, не может? Рано или поздно это должно случиться. «Нужный человек Минаев. Может кооператив сделать». Как насторожилась она, услышав это! Даже джемпер натягивать перестала... Ты справедливо не усмотрел тут ничего симптоматического — какая женщина не мечтает жить отдельно! — но вдруг этот повышенный и нетерпеливый интерес к квартире зиждется на иных, более сокровенных и пока что тайных для тебя, лимитирующих сроки обстоятельствах?

Не дури, Рябов. Читай о принципах расчета, что несовместим с принципами хозрасчета, и не дури. Ты достаточно знаешь свою жену: неужто допустит она такое, пока еще полная неясность с квартирой?

Да и разве не дала она тебе понять, что вообще не торопится с этим? «Слава, дорогой, я не хочу быть только самкой, только женой, только матерью. — Доверительно и взволнованно, а глаза надеются, глаза верят, что ты поймешь ее. — Прежде всего я — женщина и всегда буду ею».

Ну и чудесно! Ведь именно на женщин, если ты не ошибаешься, природа возложила эту деликатную функцию. Поэтому ничего сверхъестественного нет в твоём внезапном подозрении. Никогда еще она не сидела вот так перед тобой — в столь поздний час и без единого слова.

Не дочитав до конца, деловито переворачиваешь страницу, быстрым скошенным взглядом задеваешь из-под ресниц ее лицо. Зажмурься, Рябов! Покачай головой. Не веришь? Это она, твоя жена, и ты снова, как некогда, понимаешь посторонних мужчин.

— Спокойной ночи. — Негромко и как-то сдавленно, будто натягивает джемпер через голову.

Ты слышишь, ты видишь спиной, как тихо укладывается она под свое одеяло. Свое! Ты чудовище, Рябов! Твоя жена хотела поговорить с тобой, она ждала тебя, а ты уткнулся в словоблудливого Мирошниченко. Что собиралась сказать она? Не «спокойной ночи», для этого не вылезают из постели, не облачаются в халат и не сидят в ожидании с бесконечным терпением.

Запрокинув голову, упруго, с хрустом разводишь руками.

— Крым хорош летом. Можно прокатиться верхом на медузе...

И еще что-то плетешь дальше — остроумие уровня Панюшкина. не выше, — и вдруг эта невинная дорожка приводит тебя к повороту, перед которым у тебя на секунду захватывает дух. Но ты решаешься. Отпуск в декабре, это, конечно, ужасно, но и в декабре можно прелестно отдохнуть. Не в Крыму, нет, а, например, в Карпатах, где, слышал ты, замечательные лыжи. «Я не смогу в декабре кататься на лыжах». «Почему?» — наивно подымеешь ты брови. «Не смогу...»

— Но ведь мы в Польшу собирались в декабре.

В Польшу... Прекрасная страна — Польша. Там жил Коперник и еще кто-то.

— Коперник — великий ученый! — провозглашаешь ты. Без помады ее губы напоминают ветчину, и ты едва удерживаешься, чтобы не поделиться с подружкой жизни этим тонким наблюдением.

Ты кретин, Рябов. Ни одна душа на свете не подозревает, какой ты кретин. Даже братец. Сиди и читай, читай до посинения про котловый способ, при котором затраты изумительно распределяются между заказами пропорционально их стоимости.

13

Придерживая дверь, вворачиваешь шуруп.

— Текущий ремонт? — Тетюнник в клетчатом пиджаке. — Смотрю и поражаюсь: вас и на это хватает. Удивительно! Просто удивительно! У вас феноменальная работоспособность, Станислав Максимович. Фено-ме-нальная.

Извлекаешь на свет одну из глупейших своих улыбок. Все, достаточно — иначе резьбу сорвешь. Еще шуруп — и никакая сила не отделяет ручку от двери.

Причмокивает, качает головой. Одобряю, Станислав Максимович! Все, что ни делаешь, даже ремонт дверной ручки, — одобряю. Но простите, мне некогда, меня работа ждет, бегу.

Бежит. Не к Панюшкину ли? Провожает взглядом. Туда.

«Заходите, Станислав Максимович, кто бы ни был у меня. Для вас моя дверь открыта всегда».

И все-таки лучше подождать. К Марго в половине двенадцатого, время есть. К тому же ты вовсе не сгораешь от нетерпения узнать, что за разговор приберег для тебя директор института. Не сгораешь, так ведь? Ты и на ринге никогда не форсировал события, отдавая предпочтение добротной французской школе, девиз которой — надежная защита. Двумя перчатками закрыто лицо — и попробуй достать его! А свои удары всегда возьмешь, только не надо торопиться, надо подождать, пока противник, потеряв терпение, не откроется в легкомысленном азарте.

Все!

— Можно вешаться — выдержит.

Люда подымает голову от бумаг. Она чудесно относится к тебе — смотри, сколько дружелюбия в ее ласковых глазах. Она все понимает, самая красивая женщина института. И ты тоже. Ты тоже понимаешь теперь кое-что, но не подаешь виду. Ты даже не спрашиваешь, понравился ли ей вчерашний спектакль.

У тебя железное самообладание, Рябов, — о каких пустяках думаешь ты за несколько минут до «главного разговора»!

Конечно, пустяках! Тебе нет дела до самой красивой женщины института. До сотрудницы — есть, а до женщины — нету; разве ты не установил это раз и навсегда?

Звонок, Федор Федоров срывает трубку. Поговорить — вот единственная отдушина после закрытия охотничьего сезона.

— Минутку. Станислав Максимович!

Берешь.

— Слава? Привет, старик. Минаев. Ты звонил мне?

По-студенчески просто. Мало ли кем стали мы: ты — кандидат наук, я — номенклатурная единица, но прежде всего мы товарищи, соратники, не так ли?

— Я в субботу домой тебе звякнул, думал — что срочное. Мне сказали, ты в Крыму. Красиво живешь, старик.

В общем-то, разыскивал ты меня, но не будем считаться. Нужен тебе — я к твоим услугам,

— Экскурсия? Завидую, старик, завидую. С удовольствием присоединился бы. Как погода там?

О делах не спрашиваю. Дурной тон — с ходу интересоваться, зачем понадобился тебе. Во мне теперь многие нуждаются, но то — служба, то — официально, а с тобой мы приятели.

— Молодец, что дал знать о себе, — сколько не виделись! Что ты, как?

У меня отдельный кабинет — надеюсь, ты уже понял это по моему тону? Никаких сослуживцев, один. Ни Федора Федорова, ни Люды, самой красивой женщины института, ни Малеевой, матери своих детей. В приемной сидит кое-кто, но ничего, подождут. Мы ведь соратники с тобой. В институте, кажется, ты не слишком жаловал меня, я был в твоих глазах пронырой, ловкачом, карьеристом — кем там еще? — но кто старое помянет, тому глаз вон. Мы приятели и мы можем быть полезны друг другу. Не желаешь ли, старина, в кооператив вступить?

«Вы с Минаевым учились? Так в чем же дело — он как раз курирует этот отдел».

— А вообще, слушай, что это за разговор! Надо встретиться, посидеть. Ты где обедаешь, дома?

Это тебя устраивает. Иначе пропадет еще один вечер — какой по счету?

— Отлично, я тебя приглашаю. В час в «Москве». Я позвоню, чтобы оставили столик. Будь здоров, старик!

В «Москве» в час, у Марго в половине двенадцатого. Достаточно! Шеф больна, и ты просто не смеешь задерживать ее.

Звонок. Уж сейчас-то Федор Федоров утолит жажду.

— Вас.

Опять? Благодарно киваешь. А по имени не назвал — осерчал старик. Пусть вы и начальник без пяти минут, а несправедливо все же. Вам два раза подряд, а мне ни одного. И сезон закрыли и не звонят. Как жить дальше?

— Станислав Максимович, вас Архипенко беспокоит. Здравствуйте.

«У него неприятности. Жена жалобу написала».

— Значит, не возражаете. А когда вам удобнее — в среду или пятницу?

Не похоже, что убит горем. А почему, собственно, горем? Он парить должен — от счастья. Не парит. Ни то ни се. Марки собирает.

— Спасибо, Станислав Максимович. Я передам в учебную часть, обязательно. Большое вам спасибо, до свидания.

Нудный, как доцент Архипенко.

«И не надо так плохо думать о людях» — завещание Lehrerin.

А что, теперь думаешь о нем лучше?

«Вы слышали? Рябов из отдела Штакаян с женой разошелся».—

«Да ну бросьте!» — «Я вам говорю». — «Боже мой, как же так! А ведь его в заведующие прочили — как Штакаян на пенсию уйдет». «Прочили», — со вздохом.

Слишком всерьез принимаешь ты все, кандидат. Так нельзя! Подымайся и иди: тебя ждет директор. Для главного разговора.

«Садитесь, Станислав Максимович. Ближе, ближе. Вы что же думаете: чем ближе сядете, тем дольше задержу вас? Догадываетесь, о чем речь пойдет? Так уж и нет! Все знают, а вы нет. Маргарита Горациевна уходит на пенсию». — «В первый раз слышу. Когда?» — «Не знаете? Любимому ученику и не сказала вдруг? Бросьте, Станислав Максимович. Зачем нам с вами лукавить друг перед другом? Вы молody, у вас все еще впереди, а я... ну, не первой свежести, так скажем. Но кое в чем я еще могу быть полезен вам. Вас ждет блестящее будущее...»

Ни в какое Жаброво ты не поедешь. Глупость, наваждение — переться бог знает куда, в глушь, в деревню, к Татьяне Лариной. Мало, что ли, здесь женщин? Тебе легкости не хватает, Рябов. Женщинам нравятся мужчины фривольные и дерзкие, ты же утомительно порядочен с ними.

«Вас ждет блестящее будущее...»

Открываешь дверь:

— Разрешите?

Один. Нет, с телефоном, как всегда. Рукой машет: входите, не стесняйтесь, я сейчас.

— Да-да, я слушаю. Да.

Можете располагаться — вот сюда, в кресло. Не на стул — нет-нет, в кресло, вот так. Смелее, смелее! Главный разговор предстоит.

— Добро! Письмо напишите... Можете на мое имя, можете вообще без имени — в этом ли суть!

Смотри внимательно: перед тобой Минаев в возрасте. А в час дня в «Москве» увидишь молодого Панюшкина. Панюшкина на взлете.

— Добро... Добро... Пока!

Трубка виновата, что тебе ждать пришлось, — летит, отвергнутая. Чудовищное изобретение — телефон!

— Прямо напасть какая-то! Звонят, звонят — работать некогда. Здравствуйте!

Дряблая маленькая рука, а на вид — крепыш, боровичок. Кнопку вдавливают. Секретарь Клавдия — не входя, приоткрыв дверь.

— Не соединяйте меня. Меня нет.

Вот как я уважаю вас, Станислав Максимович. Серьезный, главный, долгий разговор у нас с вами — приготовьтесь.

— Как лекции вчера? Все нормально?

Больно уж издалека. Этак ты и к Марго не поспеешь.

— Скромничаете. Ох скромничаете! Судя по вашим статьям, студенты должны обожать вас. Живо, доходчиво... Обожают, а? Признавайтесь.

Директор в роли подхалима. Уникальное зрелище!

— По-разному. Одни — слушают, другие — романы читают.

Уж не идея ли соавторства зреет в голове рубахи-директора?

«Спасибо, Иван Акимович. Это очень лестное предложение, но я не уверен, что справлюсь». — «Скромничаете! Ох скромничаете». — «И даже не в этом дело — справлюсь или нет. Круг тем, которые я затрагиваю в своих работах, довольно локален — как, впрочем, и у всякого автора. По-моему, это естественно. И будет, я думаю, несколько странно, если я сунушь вдруг не в свою тарелку». — «Почему не в свою? Я потому и предлагаю вам, что это ваша тарелка».

— Поражаюсь вашей работоспособности.— Это ты уже слышал сегодня. Не много ли на одно утро? — Ведь кроме всего прочего, вы, по сути дела, еще и отделом руководите. У меня здесь справочка... Вот.— Ключок ведомости. Он демократичен и прост, директор, меловая бумага ни к чему ему.— С первого января Маргарита Горациевна проработала в общей сложности двадцать два дня.— Без очков шпарит — наизусть вы зубрил? — Двадцать два. Это чуть больше трех недель. А с Нового года, слава богу, минуло почти четыре месяца.

Смолкнув, умно глядит водянистыми глазами. Тебе предоставлено право сделать вывод из этой грустной статистики.

«При всем этом, товарищи, здоровье Маргариты Горациевны уступает здоровью наших космонавтов. Поэтому естественно, что Маргарита Горациевна физически не в состоянии вникнуть во все тонкости работы института. Я, как директор, констатирую это с огорчением, ибо советы и консультации Маргариты Горациевны были б весьма полезны для нас».

— Вы руководите отделом, а получаете оклад научного сотрудника. Кроме того, вы ведь выполняете и свои обязанности. Другой давно взбунтовался бы на вашем месте, а вы — нет, вы тянете. Честь и хвала вам за это. Честь и хвала!

— Спасибо, только вы преувеличиваете. Маргарита Горациевна в курсе всего, что делается в отделе.

— Я ценю вашу скромность, Станислав Максимович. Как и ваше благородное отношение к своему учителю. Но, право, у руководства института, в конце концов, тоже совесть есть. Я хочу быть с вами откровенен, Станислав Максимович. Мы все глубоко чтим Маргариту Горациевну. Она отличный ученый, прекрасный человек...

«Но ее здоровье уступает здоровью космонавтов. Этим я и объясняю резкость высказываний Маргариты Горациевны. Я убежден, у Маргариты Горациевны и в мыслях не было опорочить наш коллектив, руководство института».

— Давайте назовем вещи своими именами. Работать ей трудно. Вы согласны со мной? Честно, по-мужски! Забудьте на минуту, что она ваш учитель, что вы многим обязаны ей, забудьте. Жизнь есть жизнь. Сегодня она, завтра я, послезавтра вы. Диалектика. Согласны?

— С диалектикой согласен.

— Только с диалектикой? А с остальным? Но не буду пытаться вас: я ведь понимаю, что вам труден этот разговор. Я и Маргариту Горациевну понимаю. Одна, ни детей, ни родственников. Невеселая старость, чего уж там... Вы-то что, вы-то об этом еще умозрительно судите, а я уж сам подбираюсь. Маргарите Горациевне нелегко расстаться с коллективом. Но я хочу быть с вами до конца откровенен, Станислав Максимович. Мне кажется, на вас можно положиться.

Водянистые глаза — два всплывших к поверхности осторожных окуня. Не такой уж он рубаха, директор Панюшкин. Не двигаешься, ждешь — при желании это можно растолковать как знак согласия: положиться можно.

— Недавно у нас состоялся разговор с Маргаритой Горациевной. Неофициальный и вполне дружеский, я бы сказал. Я предложил ей следующее. Если она не возражает, институт будет ходатайствовать о назначении ей персональной пенсии. Уверен, что наше ходатайство не отклонят: вклад в науку профессора Штакаян общеизвестен. — Горестная пауза. Сейчас главное последует. — Маргарита Горациевна отказалась. Она заявила, что не собирается уходить на пенсию.

Твое сердце зачастило, но ведь ты умеешь владеть собою, не правда ли, Рябов? Ни один мускул не дрогнул на твоём голом лице. Ты не разочарован, нет, — напротив, ты искренне рад, что мэтр и учитель не намерена покидать свой пост.

Окуни в глубину ушли — директор сказал все. Он обессилел — все это чрезвычайно трудно, Станислав Максимович! Чрезвычайно! Жду вашего слова.

— По-моему, надо поблагодарить Маргариту Горациевну. Наука только выиграет от этого.

Печальная улыбка. И вы говорите это всерьез? Конечно, я тоже рад, что, несмотря на нездоровье, Маргарита Горациевна остается в наших рядах, но...

«Научное руководство осуществляется крайне неквалифицированно. Я привела всего несколько примеров, но число их можно увеличить. Не понимаю, как товарищ Панюшкин мог согласиться на руководство исследовательским институтом, не имея опыта научной работы».

Откуда столько силы в этой маленькой женщине на тонких ножках? Завидуешь, Рябов... Чему? Вот ахнули бы все, узнав. Зависть и Станислав Рябов — понятия столь же несовместимые, как мама и компромисс. Между прочим, они похожи — твоя родная мама и мать крестная. Странно, что тебе до сих пор не приходило это в голову.

Недоумеваешь: чем, собственно, озабочен директор? Ликовать надо: такой специалист — и остается в институте!

— Вы действительно уверены, что наука выиграет от этого?

Удивляешься: а как же?

Чего он хочет от тебя?

Окуни вновь всплывают. Есть способ проводить профессора на пенсию, но ведь вам не требуется шпаргалка, товарищ Рябов. Думайте, думайте, ворочайте мозгами — в конце концов, не я, а вы преемник заведующего отделом.

— Наука должна выиграть. — Ты делаешь ударение на слове «должна». — У Маргариты Горациевны огромный опыт.

Как все же вы недогадливы, Станислав Максимович! Хорошо, я подскажу вам.

— Опыт большой, но при ее теперешнем положении ей трудно передавать его. Она почти не бывает в институте. Будем откровенны: если б не вы, вся работа отдела полетела бы к чертовой матери. Разве не так?

Думайте, думайте, я подсказал достаточно.

— Я не один в отделе.

Скромность украшает человека.

— Перестаньте, Станислав Максимович! Мы ведь не дети с вами. Я уже понял, что вы скромный молодой человек, и хватит об этом.— Пожалуй, это уже грубость.— Вообразите, что вас не было б в отделе.

Не стоило ему грубить тебе — теперь ты будешь непонятлив, как охотник Федоров.

— Другой был бы.

— Но не всякий другой уложился бы в график. И это естественно. Неестественно другое: заведующий отделом три месяца не приходит в институт, а график тем не менее выполняется. А если б нет? Представьте на секунду такое положение. Реально оно? Вполне! Подходит срок сдачи работы, а работа не готова. С вас, разумеется, спросить не могут. Наоборот, вы спрашиваете с нас: будьте добры, товарищ директор, обеспечьте нормальное руководство отделом. Штакаян прекрасный ученый, но почему мы должны страдать из-за ее бесконечных болезней?

Теперь-то вы понимаете, Станислав Максимович?

Теперь понимаешь. Но не подавай виду: разве столь гнусная мысль может сразу уложиться в целомудренной голове молодого ученого?

— Работа будет закончена в срок.— Ты обязан проинформировать руководство, раз оно заговорило об этом.— Тридцатого апреля мы сдадим ее.

Поединок взглядов? Пожалуйста! — твои глаза голубы и невинны.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно.

Сколько вам лет, Станислав Максимович? Двадцать восемь? И вы не понимаете, о чем я? Да провалите вы эту чертову работу! Провалийте — никто ведь вам слова не скажет. Вы старший научный сотрудник и отвечаете за себя. Только за себя, а не за отдел в целом. Загляните в план — кто ответствен за выполнение темы? Штакаян. С нею и разговор будет. Заслуги заслугами, но производство, уважаемая Маргарита Горациевна, не должно страдать. Нам очень жаль — и поверьте, мы говорим это не для красного словца, — но здоровье не позволяет вам дальше руководить отделом.

— Кроме вас, в этом не уверен никто.

Не понимаешь. Чужда твоему отвлеченному мышлению эта вульгарная заземленность. Ты там, в облаках, где лишь цифры да графики.

— В чем не уверен?

— В том, что работа будет закончена в срок. Во всяком случае, с вас за нее никто не спросит — это я вам гарантирую. Потом, когда вы станете заведующим отделом — а это при известных условиях я вам гарантирую тоже, — мы будем спрашивать с вас в полную меру. Но это потом.

Куда уж яснее! А впрочем, ты слишком молод, чтобы усекать такие вещи с полуслова.

— Но ведь работа почти готова.

— Станислав Максимович! (Переиграл.) Вы или смеетесь надо мной, или вы поразительно наивны. Я склонен думать, что первое. Ответьте прямо: вы хотите заведовать отделом?

Ва-банк.

— Но ведь мы говорим сейчас о теме, над которой работает отдел.

— Одно связано с другим. Если работа не будет сдана в срок... Подержите ее еще май. Только май, один месяц, и я обещаю вам заведование.

«Вы мерзавец! Вы отъявленный мерзавец, Панюшкин. — Братец

сжимает кулаки. Борода его воинственно задрана — здравствуйте, господин Курбе! — *Как вы смеете предлагать мне такое? За кого вы принимаете меня? За последнего подонка? Я набил бы вам морду, не будь вы старше меня на двадцать лет*».

Брезгливый взгляд на директора сквозь роговые очки. Он не ослышался? Он совсем юн еще, Виноградов, последний аспирант профессора Штакаян, он на два или три года моложе тебя, и ему трудно поверить, что подобное возможно.

Не ослышался. Возможно. Подымается и молча выходит из кабинета — последний аспирант профессора Штакаян.

— Вас шокирует мое предложение. Оно кажется вам безнравственным и жестоким, я понимаю. Но иногда приходится быть жестоким, раз этого требуют интересы дела.

— И безнравственным.— Скучно усмехаешься. В тебе нет возмущения, и ты не намерен симулировать его. Достаточно и одного спектакля, разыгранного тобой: Жаброво.

— То, что идет на пользу делу, не может быть безнравственным.— Как омерзительно стар он, директор Панюшкин! Старее Марго и нянечки Поли, вместе взятых.— Штакаян не в состоянии больше работать, это ясно всем, в том числе и ей самой, но сделать из этого должные выводы у нее не хватает смелости. Мы обязаны помочь ей.

Стар. И скоро, скоро окажется за бортом — не выкинутый, вежливо выпровоженный на берег. Однако пока он на корабле, он может попортить немало крови.

— Мы?

— Да, мы. Один, как известно, в поле не воин.

А что, собственно, он может сделать с тобой? Ты рискуешь потерять из-за него темп — пока он у руля, это в его силах.

Темп.

— От вас требуется совершенный пустяк: не сдавать работу, покуда я не скажу вам. Все остальное я беру на себя.

«Стало быть, не желаете помочь нам? Хорошо, обойдемся без вас. Но не рассчитывайте, что вы выиграете от этого. Кстати, позаботьтесь перенести ваши лекции на вне рабочее время. На субботу или на вечер. По понедельникам я прошу вас впредь быть на месте».

— Вас смущает что-то? Поделитесь — вместе помозгуем. Если мое предложение неприемлемо для вас — откажитесь. Я не буду в претензии — слово мужчины. Рано или поздно Штакаян уйдет на пенсию, и тогда это место будет ваше. Но, конечно, полной гарантии, как сейчас, я не могу вам дать. За два или три года много воды утечет. А Штакаян может проработать и больше: и четыре и пять лет.— Разводит руками. Это уж не в моей власти. До самой могилы будет скрипеть, а когда это случится, одному господу богу известно. Так что выбирайте.— Я не тороплю вас — взвесьте все хорошенько.

Нет, он не отважится пойти против тебя — тем более теперь, по рукам и ногам связанный столь доверительным разговором. Какого маху дал он, решившись на него! *«Я ответственно заявляю, что товарищ Панюшкин подбивал меня не сдавать законченную работу».* И тебе поверят. Он знает, что тебе поверят, и, слава богу, не знает другого: на такое ты не пойдешь никогда. Выиграв у Панюшкина, который и без твоих вмешательств продуется в пух и прах, ты сильно проиграешь в ином: тебе перестанут доверять. На человека, способного публично козырять приватными беседами, нельзя положиться. Панюшкин не понимает этого. Стар, стар, безнадежно стар директор Панюшкин!

— Тридцатого апреля работа будет сдана.

«Догадываетесь, о чем говорить будем? Маргарита Горациевна уходит на пенсию. Вас ждет блестящее будущее».

Мальчишка!

«Штакаян может проработать и дольше. И четыре и пять лет».

«Никто из нас не вечен.— Большие блестящие армянские глаза. Она любит тебя как сына.— Не пугайтесь, вас я не имею в виду. Просто тянет обобщать с определенного возраста. Философствовать. Некий мудрец, между прочим, назвал философию наукой умирать».

Дурные, юркие мысли. Прочь!

Все? Или еще будут вопросы?

— Вы хорошо подумали?

Надеется, на попятную пойдешь?

— Да. Я всегда говорю подумав.

«Не буду в претензии на вас — слово мужчины». Ораторская фигура?

«Я вчера дал вам расчеты. Пожалуйста, верните мне их. Не смею загружать вас». «Завтра принесу. Я уже посмотрел их. Кое-что исправил».

Расчетов немного, но раньше одиннадцати не вернешься от брата. Сегодня час-полтора и завтрашнее утро — успеешь.

— Ну что же, Станислав Максимович: на нет и суда нет.— Вглубь, навсегда ушли окуни.— Откровенно говоря, я и не ожидал от вас ничего другого.

Представьте себе! И весь этот разговор затеян исключительно с целью проверить вас. Вашу нравственную устойчивость, так сказать. Вы уж не вздыхайте. Зато теперь я уверен в вашей порядочности. Вашу руку, Станислав Максимович!

— Рад, что не разочаровал вас.

— А я рад, что лучше вас узнал. Я себя вспоминаю в ваши годы — я ведь таким же был. Молодости, увы, несвойственна гибкость — это ее плюс, но это и ее минус. Когда-нибудь вы поймете, что прав был все же я, а не вы.

— Но поздно будет?

— Почему? — Вверх взлетают кустистые брови.— Я же сказал: мое отношение к вам не изменится. Единственная просьба: все это между нами.

Словом, не мешайте нам. А уж мы придумаем что-нибудь. Без вас.

Ради бога! Ты ни во что не намерен вмешиваться — у тебя достаточно своих дел.

Встаешь.

— Я могу идти?

— Можете. А можете и сидеть. (Рубаха-директор!) Я по-прежнему всегда к вашим услугам. Кстати, за какую команду вы болеете? (Не понимаешь.) Я о футболе. За какую команду?

«Посмотри хотя бы один матч. Современный футбол — это прежде всего мысль. Красота, мысль, мужество». Вот когда ты пожалел, что не внял совету брата.

— Ни за какую.— Улыбкой просишь о снисхождении.

— Как — ни за какую?

Бог с ней, со Штакаян,— это все мелочи, ерунда, но вот футбол... Неужто вы равнодушны к этой волшебной игре?

— Да.— Раскаиваешься. Свою неполноценность признаешь: нельзя быть таким в наш футбольно-хоккейный век. Хлеба и зрелищ! — как и сто и тысячу лет назад. Не гуртом умнеет человечество — отдельными индивидуумами.

— Этого не может быть! — Встал от волнения.— Немедленно выберите себе команду и начинайте болеть. Немедленно! Да-да, я серьезно! Преступление пренебрегать хоть чем-то, что делает жизнь разнообразнее и веселее. Очень мудрый совет я вам даю, Станислав Максимович! Муд-

рый! Не работой единой жив человек.— До двери провожает: теперь убедились, что мое дружеское расположение к вам не ослабло? Мешковатые неглаженные брюки.— Так мы договорились: все между нами.— Влажная ладонь. Интимно придерживает твою руку.— А команду вытирайте себе — непременно! Потом скажите — может, совпадет. Так что за кого я болею — секрет пока.

Сейчас дверь перед тобой распахнет. Опережаешь.

Посетитель в приемной. Черная папка на коленях — двумя руками держит.

— Вы ко мне? Простите, Христа ради, ждать заставил. Прошу!

Рубаха-директор. «Я не буду в претензии на вас — слово мужчины».

«Заслуги Маргариты Горациевны перед отечественной наукой трудно переоценить. Мы гордимся, что...»

И после этого ты готов верить ему? Не видать тебе заведования как своих ушей. «Работа будет сдана тридцатого апреля». Рубаха-директор не простит этого.

Но ведь ты не агрессивен, как Марго. Ни крушить, ни нападать не собираешься. Ты миролюбиво и вежливо отклонил предложение — из этого вовсе не следует, что ты принял сторону Марго. Ты вообще не намерен принимать чью бы то ни было сторону: не дело ученого барахтаться в склочной луже.

Входишь в отдел, за свой стол садишься. Федор Федоров трещит на арифмометре. Еще нет одиннадцати — рано к Марго.

Люда кладет перед тобой сетевой график — уже? Самая красивая женщина института, она умеет работать! Еще час назад ты планировал перевести ее на свое освободившееся место... Мальчишка! Теперь подождать придется самой красивой женщине.

А Виноградову Панюшкин осмелился б предложить такое?

У тебя комплекс неполноценности, Рябов, — чем Виноградов лучше тебя? Конечно, ты плебейски завидуешь его ушам — они не торчат у него, а ловко пригнаны; роговые очки придают лицу вид возвышенный и гордый, но на рубаху-директора это обстоятельство вряд ли подействовало б.

«Никто из нас не вечен. Некий мудрец, между прочим, назвал философию наукой умирать...»

Юркая нечаянная мысль — да, она была, но почему ты решил, что Виноградова не посещают подобные мысли? Никто не ведает, что творится в черепной коробке ближнего. И не надо заглядывать туда. Человеческая судья не по тому, что он думает, — по его поступкам.

«Мне плевать, как истолковывают мое поведение. В душе, я знаю, я чист, добр и честен.— В грех самоуничижения не впадет братец.— Если б кто-нибудь знал, какие мне сны снятся! Мне такие сны снятся...»

А тебе? Что тебе снится? Пожимаешь плечами. Какая разница, что кому снится, главное — чем наяву заняты твои руки. Поэтому брось хандрить, все идет прекрасно! Панюшкин мстителен — не может простить Марго ее нападок, но гнев скверный советчик. Зачем рисковать, ускоряя события, которые и без того грянут в свой час?

«Штакаян может проработать и больше: и четыре и пять лет». У страха глаза велики.

«Я не в претензии на вас — слово мужчины». Нет, это не риторическая фигура. Он желал обрести в твоём лице союзника, но раз ты предпочитаешь нейтралитет — пусть будет так, твой нейтралитет приемлемей твоей враждебности.

Все хорошо, Рябов, и у тебя прекрасное настроение. Великая вещь — чувство дистанции. На ринге оно попросту незаменимо, а в тебе

оно есть, Станислав. Это я тебе говорю, а я никогда еще не ошибался. поверь мне.

Верю! Я верю вам, Александр Игнатьевич, вы блистательный тренер, и лишь из-за подножек судьбы вам не удалось воспитать своего Валерия Попенченко.

Ты не позволишь судьбе сыграть с собой подобную шутку. Ты крепко держишь ее в руках, капитан, но сейчас — пора! — в половине двенадцатого мэтр и учитель ждет тебя, а ведь ты еще собирался купить для нее букетик мимозы. Мэтру и учителю будет приятно, тем более что этот знак внимания нельзя истолковать дурно. Она сделала для тебя все что могла — больше ты не зависишь от нее. Напротив...

14

— Вот как кстати: поможете мне в единоборстве с Виноградовым. Проходите. Теперь-то, Юра, вам наверняка придется капитулировать. Станислав Максимович будет на моей стороне.

Судя по взгляду, Виноградов принимает тебя за шкаф. Что ему Станислав Максимович? Если уж вы, профессор, не сумели переубедить меня, то неужели это сделает некто Рябов, пусть он хоть трижды ваш любимый ученик и преемник? Я могу лишь кивнуть на его приветствие — кивнуть, не приподнявшись со стула. Не нравится мне ваш Рябов. Это не рисовка, это настолько искренне, что меня, видите, увлекла старая газета.

Прискорбно, конечно, что Виноградов принимает тебя за шкаф, но он одинок, твой молочный брат, ибо все остальные принимают тебя за Станислава Максимовича Рябова, за кандидата Рябова, за потенциального доктора Рябова, за потенциального заведующего отделом Рябова, за потенциального... «Слава, у меня торжество, ты уж будь добр...», «Старина, я всецело поддерживаю...», «Можешь всегда рассчитывать на меня...» Ты не кичишься, ты констатируешь факт. У потенциального Рябова множество не потенциальных, а уже сегодняшних союзников, и лишь господь бог ведает, почему молочный брат предпочитает держаться на расстоянии от тебя. Ты не сердись на него. И ты не ревнуй его к Люде, самой красивой женщине института.

— Садись, Станислав Максимович. Вдвоем-то мы положим на лопатки этого упрянца. Вам известно, что соискатель Виноградов отказывается рассчитывать экономический эффект от рационализации управления? Не из-за лени — просто он считает, что цифра эта существенной роли не играет. А так как к тому же она весьма невелика — стало быть, Юра, вы все же высчитали ее? — то может стать козырем против рационализации. Поэтому лучше вообще ее не давать. А на каком фундаменте в таком случае держится вся эта громоздкая постройка? На очень простом: совершенствовать уровень управления — это не только искать какое бы то ни было экономическое равновесие, но также и создавать те жизненные условия, в которых человек сможет развивать свои способности, дать обществу лучшее, что в нем есть. Это цитата из Жоржа, как вы помните. По-моему, я сама же и приводела ее на одной из лекций. Теперь мне ее возвращают, но уже в качестве аргумента против старого и косного профессора. Старый и косный профессор в данном случае — это я. Мне не остается ничего иного как пойти на кухню варить вам кофе, а вы тем временем подискутируйте тут. Или вы предпочитаете чай? Как, Станислав Максимович?

В общем-то, ты предпочитаешь минеральную воду, но не пристало капризничать в этом доме, а уж тем более отказываться от тонизирующих напитков, ссылаясь на раннюю склонность к гипертонии. Элементарная неучтивость — печься при Марго о собственном здоровье.

— Все равно.

— Спасибо, Маргарита Горациевна. Мне пора.

Я понимаю, что это ваш преемник и любимый ученик, но дискутировать с ним у меня нет охоты.

— Как так? Да вы просто малодушно хотите удрать. Не выйдет! Станислав Максимович, я прошу вас всю использовать свои полемические способности. Вы схлестывались когда-нибудь? Трезвость и железная логика, — пергаментная ручка в твою сторону; что ж, ты не возражаешь, — и фантазер, мечтатель, поэт в экономике. Надо непременно сшибить вас лбами — удивительные искры высекутся.

— Я должен идти, Маргарита Горациевна. — Длинные прямые русые волосы — поэт и мечтатель.

— Ретироваться, вы хотите сказать? Опасаетесь, что Станислав Максимович вдрызг разнесет вашу эфемерную постройку? Экая проза — нехватка производственных площадей, моральный износ оборудования, острейший дефицит вычислительной техники! Со всеми этими проблемами диссертант справляется просто: он игнорирует их. Его предприятие существует в идеальных условиях. Конечно, это не утопия, это фантастика, причем фантастика научная, но пожалуйста, Станислав Максимович, опустите его на грешную землю. У вас это получится лучше, чем у меня. Скажите ему, что на этой грешной земле... На сколько, не помню, наша зона обеспечена компьютерами? На шестнадцать процентов? На восемнадцать?

К тебе — ты помнишь все. Осклабиваешься и молчишь. Ты-то здесь при чем, если профессору угодно подразнить своего последнего аспиранта?

— Со временем будет обеспечена на сто. — Не спорит, дает справку.

«Отрадная цифра. Надо думать, вы получили ее аналитическим путем». Воздержись.

— Вот видите, сто! Вы эгоист, Юра. Вы отбиваете хлеб у своих будущих коллег. Смотрите, его и это не смущает. Знаете, что он сейчас ответит мне? Что Циолковский-де не отбивал хлеб у Королева. И мне нечем будет крыть.

Прощелыга! Вы видите, какой это прощелыга, Станислав Максимович! Ему плевать на мой авторитет, на мое имя, на мой возраст, в конце концов! Ему вообще на все плевать, но я люблю его, чертенка!

Тебя профессор Штакаян не бранила так. С тобой профессор Штакаян была корректна.

— Я, конечно же, согласна с вами — со временем будет обеспечена на сто. А как сейчас жить, при восемнадцати процентах, экономиста Виноградова не интересует. Не желает приспособливаться к реальным условиям.

— Вы полагаете, надо приспособливаться?

«Разумеется! Нелепо и опасно пользоваться в наш автомобильный век правилами уличного движения эпохи дилижансов. Нелепо и опасно!» Помолчи! Не к тебе обращается молочный брат — к маме.

— Сдаюсь, — со смехом разводит мама тоненькими ручками. — Я неосторожно выбрала слово. Не приспособливаться — учитывать. Учитывать реальные условия.

— И вести себя сообразно с ними.

— Бесспорно.

Губы будущего сонскателя странно кривятся.

— Многие так и делают, — произносит он.

Кровь медленно приливает к твоему лицу. Спокойно, Рябов. Спокойно. Он молод, твой молочный брат, а молодости свойственны опрометчивость и горячность.

Молочный? Только ли молочный? Ты вдруг чувствуешь, что Виноградов больше достоин быть сыном твоей матери, чем ты и твой братец-шалопут, вместе взятые. Спокойная сила угадывается в нем — та самая сила, что держит на ногах Марго и директора кондитерской фабрики. В себе ты не ощущаешь ее. Не всегда ощущаешь, скажем так.

Кофе! Ах, как кстати вспоминает о нем профессор! — и вот вы уже вдвоем с братом.

Марго права: не приспособливаться — учитывать. Что было б, поддержи ты ее тогда на ученом совете — открыто, во всеуслышание? Дрязги. Группировки и дрязги, пользы же — никакой. Скорее вред, ибо открыть противнику расстановку сил — это уже наполовину проиграть бой. Ты выиграл его. Разумеется, выиграл — а как иначе классифицировать то, что произошло сегодня в директорском кабинете? Выиграл спокойно и тихо, не размахивая руками, но тем основательней твоя победа.

Молочный брат не понимает этого. Молод! Строгие губы, строгие серые глаза за стеклами очков. Слишком строгие. Ты вовсе не ревнуешь его к Люде, самой красивой женщине института. Полвторника прошло уже, еще среда, четверг, пятница. Твой автобус приходит в Жаброво в половине десятого.

— Ей нельзя на ногах долго. — Негромко и сухо. Оставляю на вас ее, так что уж будьте добры, проследите. Запах табака. — Врачи вообще не разрешают вставать.

Звяканье в кухне. Понимающе кашляешь.

«Штакаян может проработать и больше: и четыре и пять лет».

— Сердце?

Ты не ревнуешь, нет, но тем не менее ты болван, Рябов. Разве не соблазнял ты ее шампанским? Кто поручится, что это не стало известно твоему молочному брату? Ну как после этого пылать любовью к тебе! Тут, только тут и зарыта собака, а тот ученый совет ни при чем здесь. Да и что может знать о нем Виноградов!

— Не только сердце. Мне сестра сказала... — Крохотный шрам на переносице под дужкой очков. — Приходила в одиннадцать укол делать.

Озабоченность на твоём лице. Худо, но как быть?

Испытующий взгляд: я не все сказал. «Сестра предупредила, что...» Тебе нелегко, но ты готов мужественно встретить любую весть. И, разумеется, сделаешь для Марго все возможное.

— Я поставила воду — через десять минут кофе будет готов. — Выпрямляешься. Ты и не заметил, как слегка изогнулось твое тело, поддавшись к Виноградову. — Вы поиздевались над ним, Станислав Максимович? Над фантазерами иногда полезно поиздеваться: это возвращает их на землю.

Ссохшаяся кукольная старуха с огромными глазами. Ну что не задержаться ей еще на минуту!

— Настанет время — сам упадет.

— О, это больно будет. Лучше постепенно, с парашютом.

Не смотришь на Виноградова, но видишь: поворачивается, уходит. Теперь — все, теперь ты никогда не узнаешь, что еще собирался он сказать тебе. Лоб твой блестит.

«Приспособливаться к обстоятельствам...» Смешно!

— Простите, Станислав Максимович, я провожу мечтателя.

Киваешь. Один. Заметил ли что?

Стеллажи с книгами. Джек Лондон, Купер...

Не приспособливаться — учитывать. Принципиальное уточнение! Все-таки Марго умница. Скверно, что у нее со здоровьем так. К сожа-

лению, ты бессилён помочь ей. Все бессильны — это хотел сказать твой молочный брат? Ей под шестьдесят, но неизвестно, что будет с тобой в этом возрасте. Надо думать, в двадцать восемь она не глотала дибазол с папаверином. Ты обязан спешить.

Коллекция морских камней под стеклом, на синем бархате. «Я случайно начала собирать, когда в Коктебеле отдыхала. А теперь бросить не могу. Вы только посмотрите, на какое чудо способна природа!»

Бедная Марго! Тебе искренне жаль ее.

Мимоза в портфеле. Сразу не дал, а теперь как? Она тебе кофе, а ты ей цветы? Товарообмен.

А что, собственно, мог он заподозрить? Ты заволновался, но ведь это так естественно.

Оснащенность ЭВМ на сто процентов — что же, он моложе тебя, а юности не возбраняется поозорничать. Правда, лично ты благополучно избежал этих завихрений. Ты рано повзрослел — настолько рано, что даже не помнишь, когда произошло это. Или ты всегда был взрослым? Во всяком случае, свой досуг ты никогда не услаждал собиранием морских камушков.

Но ты делал кое-что похлестче: приглашал на шампанское девушек, которые любили других. «Спасибо, но я...» — «Вы презираете шампанское...» — «Не презираю. Но...» — «Болит горло. Ангина». — «Горло не болит. Но...» — «Понимаю. Репетиция хора. Примерка. Занятие в секции декоративного рыбоводства».

«Знаешь, сегодня Рябов опять подкалывался ко мне. В ресторан звал». «А ты?» — интересуется молочный брат. «Я ничего. Он ведь сообразительный у нас. Сам приглашает и сам же отказывает вместо меня». Испарина на лбу. Нет! Люда не могла так.

— Отличный парень! Фантазер немного, но, по-моему, это даже хорошо. — Ну конечно не могла. Ты патологически мнителен, Рябов! — В отличие от многих он экономист, а не бухгалтер. Улавливает разницу? — Синие жилки на висках. Огромный восковой лоб. «Врачи не разрешают вставать». — Идешь по улице и видишь: очереди то за тем, то за этим. Сердце сжимается. Ведь мы гораздо лучше можем жить. Исходные данные, так сказать, у нас прекрасные, но мы хозяйничать не умеем. А ведь это наша с вами вина. Экономист — рулевой производства. Садитесь, что вы стоите.

— Спасибо.

Опускаешься — нет, падаешь в кресло: чересчур низкое. На рост хозяйки рассчитано.

— Наша наука все же очень человечна. Я не говорю — интересная, это само собой, но еще и человечна. Об астрономии или алгебре этого не скажешь. А экономист должен любить людей — непременно. Иначе он превратится в бухгалтера.

Морские камушки на синем бархате. «Присмотритесь: каждый камень — как маленькое музыкальное произведение. В нем и настроение, и законченность, и как бы воспоминание о чем-то. А перелив цветов!» И все это уживается с ее сильным и ясным умом!

— Виноградову скоро защищаться?

— Зимой. Но не знаю, что получится. Чуть ли не каждый день забегает ко мне, терпеливо выслушивает мое ворчание, соглашается — во всяком случае, не спорит — и продолжает все делать по-своему.

А вдруг не ревность, вдруг другое? Что? Или, может быть, ревность иного рода? *«Прислушивайтесь к Станиславу Максимовичу, Юра. У него светлая голова. Удивительно светлая!» — это вам я говорю, старуха, которая кое-что понимает*. Еще бы! Например, то, что не столько за консультацией бегают сюда диссертант Виноградов, сколько на-

вестить больного и одинокого ученого. Думает, ученый — профан и не видит этого.

Неприметно окидываешь взглядом комнату. Порядок, ни пылинки на пианино. Почему же одинокого? Разве ты не застал у нее однажды женщину, которая убирала здесь? Надо думать, материальное положение профессора Штакаян не ухудшилось с тех пор.

«Прислушайтесь к Станиславу Максимовичу...» Кому приятны подобные советы, если Станислав Максимович чуть ли не ровесник твой? Но и эту ревность (не зависть, нет, — к чему сильные слова?) — и эту ревность ты готов радостно простить своему молочному брату.

— Расчеты посмотрела. Мне кажется, кое-где мы игнорируем реальное положение вещей. — Ты весь внимание. Уйдешь без четверти час — пятнадцати минут с лихвой хватит, чтобы добраться до «Москвы». — Поузловой ремонт, например, в ближайшие два-три года им не поднять. Мне так кажется. — Трогательное уточнение. Я понимаю, Станислав Максимович, что хотя я и числюсь руководителем работы, вы знаете ее много глубже меня. Такие уж обстоятельства. Но совет-то я могу дать?

— С запчастями у них неплохо. И мы не планируем поузловой на предприятие в целом. Только цех холодной обработки.

— Да? Ну может быть. Меня другое беспокоит — уложимся ли в срок?

«Подержите работу еще май. Только май, один месяц, и я обещаю вам заведование».

— Две недели еще. — В глаза смотришь.

Вздыхает. Ваш ответ уклончив, Станислав Максимович, но что делать? Требовать большего не имею права.

— Хорошо бы успеть. А если нет — виновник вот он, перед вами. Весь квартал прохворала, старая переноска. Завод подведем — это плохо. Так некстати все. Впрочем, болезни всегда некстати. — Слепительные молодые зубы. Выше голову, Станислав Максимович, все уладится. — Пойду кофе заварю.

Коротенькое туловище на паучьих ножках. Детская кофта — как на вешалке.

«Виноградов почти каждый день забегает». Но у него предлог — диссертация, а у тебя? *«Здравствуйте, Маргарита Горацевна, — вот пришел навестить. Цветочки пожалуйста!»* *«Мимоза, мне? Старая переноска, к седьмому десятку подбирается, а ей цветы таскают. И что прикажете делать с ними?»*

Ты едва не сваял дурака, Рябов. Хорошо хоть, что в последний момент благоразумие заставило тебя сунуть в портфель этот целлофановый букетик. Убираешь бумаги — скоро, по-воровски, пока ее нет. Не хватало еще, чтобы профессор Штакаян узрела цветы в твоём портфеле. Минаеву преподнесешь как залог мира и взаимопонимания.

Встаешь, к стеллажам подходишь. Куприн, Лев Толстой, Купер... Майн Рид. Тебя всегда поражал подбор книг в библиотеке доктора экономических наук. Вот только что сказок нет. Есть! Есть сказки: «Тысяча и одна ночь». Восемь золотистых томов с синими завитушками — восточный орнамент. Пошарь взглядом: не отыщутся ли «Приключения барона Мюнхгаузена» в собрании ученого?

Темная чеканка: старец в сутане, спиной к стене прислонился, голову набок склонил — страдает. Или проповедует? Что с Марго? — до сих пор ты не замечал за ней религиозных склонностей.

«Заслуги заслугами, уважаемая Маргарита Горацевна, но здорověе не позволяет вам руководить отделом. К тому же вы веруете в бога».

Развеселился — с чего бы это? «Ей нельзя на ногах долго. Сестра сказала. Приходила в одиннадцать укол делать».

Ты клеветешь на себя, капитан! К тому же разве не установил ты с непреложностью, что человек не ответствен за свои мысли, только за поступки — слышишь, капитан, только за поступки! — а тут твоя совесть чиста.

— Комитасом любуетесь? — Оборачиваешься. Запах кофе, серебряный поднос с чашечками и сахарницей. — Нравится? Мне из Еревана прислали. Садитесь. — На журнальный столик ставит.

— Я недостоин пить ваш кофе, Маргарита Горациевна.

— Да? Почему?

Все-то вы шутите, Станислав Максимович!

— Не знаю, кто такой Комитас. Плохо учили меня. — Прекрасный тон! Так непринужденно, так беспечно и следует, видимо, говорить с тяжелобольными.

— Не может быть! — Даже сервировать перестала. — Кстати, я понятия не имею, как вы относитесь к музыке. Что предпочитаете?

У тебя задатки гипертонии, но если на то пошло, ты предпочитаешь кофе.

— Лучше спросите меня об основных и оборотных средствах.

Ты не кокетничаешь, нет, хотя, случается, и в тебе замирает все, когда вдруг из распахнутой форточки доносится едва слышимая мелодия. Но то всего-навсего Чайковский, то традиционно и общедоступно, да и о каком глубоком понимании говорить тут, если все мысли разом выветриваются из твоей утилитарной головы? Все! Хорошо хоть, что длится это прелестное состояние минуту-другую, не дольше.

— Комитас — один из величайших композиторов. Не только Армении, вообще. Но сначала, конечно, он армянский композитор. Вы слышали хоть что-нибудь его? Я могу поставить, у меня есть.

С должным почтением изучаешь чеканку. Сколько раз пробовал ты, дисциплинированный, слушать музыку — не контрабандой, не из чужой форточки, а самым что ни на есть законным и уважительным способом, — слушать и понимать, но тут твой обычно покорный тебе мозг артачился и упрямо занимался своими делами.

— По своей темности я решил, что это священник.

— В общем — да, он учился в духовной академии. И у него много духовной музыки — прекрасной музыки! У нас некоторые с убеждением относятся к этому виду музыки. Считают, она устарела. Но, на мой взгляд, куда быстрее устареет музыка светская. Слушаешь ее и видишь платья с кринолином. Я сделаю вам кошунственное признание, Станислав Максимович: я не люблю оперу. Да, не люблю. — Виновато разводит крошечными руками. Видите, Станислав Максимович! А вы-то небось думали обо мне... Великодушно отпускаешь учителю ее маленький грех. Она же, приободренная твоей солидарностью, произносит нечто совсем уж еретическое: — От оперы, по-моему, отдает нафталином. — Bravo, Марго! Bravo, профессор! — А вот Бах, который, между прочим, не написал за всю жизнь ни единой оперы, современен. А народные песни Комитаса! Я поставлю? Это всего несколько минут. Вы ведь не очень торопитесь? — С надеждой. — Будете пить кофе и слушать.

Мэтр и учитель — смеешь ли отказать?

— Спасибо. Только это не утомит вас? — Все же ты обязан заботиться о ее здоровье.

— Меня? Комитас? — Судя по размерам пластинки, тут пахнет не несколькими минутами. — Сейчас нагреется. Вы не бывали в Армении?

Отрицательно и покаянно качаешь головой.

— Побываете! Знаете, когда я впервые приехала в Армению? Когда мне было уже тридцать. Тридцать, да. Но я сразу же узнала ее. Представляете, сразу, хотя до этого знала ее лишь по Сарьяну и Комитасу. Так и вы. Послушаете сейчас, а потом, когда приедете в Армению, пусть даже через несколько лет, вспомните и узнаете.— Пускает проигрыватель.— Пейте кофе,— шепотом.

Пейте, если вы такой варвар! Пейте, если вы способны слушать Комитаса и одновременно насыщать желудок.

Ты не варвар. Посмотрите на меня, Маргарита Горациевна,— я сосредоточен и подтянут. И вообще, между нами говоря, я равнодушен к кофе.

Унылые звуки, унылый женский голос. Это и есть духовная музыка? Ах нет — народная песня. Ты честно вслушиваешься, но, как и следовало ожидать, все слова звучат для тебя на один лад: в отличие от немецкого армянский ты не знаешь. А Марго? «Мне было тридцать, когда я приехала в Армению».

Английский... Откладывать больше некуда. Без немецкого еще можно обойтись, но без английского... Два года, с твоей памятью этого достаточно. А там — докторская.

Пергаментный палец предупреждающе поднят: внимание! забудьте обо всем, Станислав Максимович, я прошу вас! забудьте и растворитесь в музыке. Вот сейчас... Вот.

Триумфальный блеск глаз — ну что я вам говорила? Божественно?

Киваешь, соглашаясь. Лучший уголок земли — Армения. А ты и не подозревал, что умная Марго так близко к сердцу принимает подобные штуки. Лично тебя никогда не занимала национальность человека, а пристрастные разговоры на эту тему вызывали у тебя ироническое недоумение. Что может быть менее существенно в человеке, нежели его национальность? Разве что размер обуви, которую носил ваш предок в четвертом колене?

«Ты не русский!» Братец полагал, что бросил тебе в лицо страшное обвинение. Ты не возражал. Ты смиренно признал, что ты новозеландец, — если ему заблагорассудится. «Нет. Не новозеландец, не русский — никто. Человек без национальности». — «Отлично! Стало быть, я человек будущего. В будущем, в далеком и прекрасном завтра, нации упразднятся. Будет просто человек, житель планеты Земля. Ты, конечно, игнорируешь общественные науки, но эти истины знает даже школьник». — «Если ты человек будущего, то я не завидую нашим потомкам».

Кто-то звонким голосом зовет на улице Катю. Откликнись, Катя,— мама волнуется.

Все? Не шевелись, сиди смиренно.

— Еще одну, хорошо? Это недолго.

Пожалуйста, Станислав, для меня! Я счастлива — вы же видите. Счастлива, что вам нравится эта музыка.

Такой ты еще не видел Марго. На краешке тахты, подобравшись — вспорхнет и полетит. Свет играет на высоком лбу. Губы шевелятся — чуть-чуть, но шевелятся. Или это мерещится тебе? Пальцы, как тонкие восковые палочки, касаются незримых клавиш, вздрагивают, снова касаются.

«С матерью... нехорошо». Ты никогда не видел отца таким испуганным. Едва сунул в скважину ключ, как дверь распахнулась — словно караулил тебя у порога, спеша сообщить о приступе. Зачем? Дабы переложить на тебя свой непосильный груз? Непосильный! Будто есть ноша, которая пришлась бы по плечу диктору! Так безоглядно верит в твое могущество, что полагает, ты без всякой «скорой помощи» можешь исцелить мать. Но «скорую», слава богу, догадался вызвать, о чем тоже торопливо проинформировал тебя. Я сделал все возможное, Станислав,

но она не шевелится. Не открывает глаз... Раунатин не помог... Ничего не помогло... С мольбой заглядывал тебе в глаза и не умолкал ни на минуту. Такой жалкой казалась его львиная грива... Ты что-то говорил в ответ — почти спокойно, потому что был, по существу, единственным взрослым человеком тут и не мог ударяться в панику. Но в груди у тебя сделалось отвратительно пусто. Наконец ты вошел в комнату. Она неподвижно лежала на тахте с прикрытыми, но не до конца глазами — узкими полосками светились белки. Тебя поразило, какое маленькое у нее лицо.

То был страшный миг. Самый страшный за всю твою жизнь.

Улыбка на губах Марго. Или это тоже игра света?

А ведь ты совсем не знаешь ее! Дикая мысль! — почти десять лет под ее опекой, любимый ученик, духовный сын, преемник, и все-таки ты ее не знаешь. Должно быть, она и сама музицирует. Сколько раз бывал здесь, видел пианино, но это не приходило тебе в голову... А в молодости, должно быть, она была красива. Не в молодости — в детстве, когда это плоское тельце еще соответствовало ее возрасту.

«Мама!» Утреннее солнце бьет в окно, разрисованное морозом. Вы в ночных рубашках до пят — ты и Андрей, на огромной кровати, которая, должно быть, не была такой уж огромной. На матери овчинный полушубок, мужская шапка с опущенными ушами. Лицо побелело от мороза. Куда-то ездила, что-то выбивала для фабрики. Сколько отсутствовала — неделю, две? «Мама!» В одеяле барахтаетесь, в простынях, которых почему-то очень много, гораздо больше, чем следует, они путаются под ногами, мешают прыгнуть на пол и босиком броситься к матери. «Десять час, а дети в постели», — выговор няне. Никель сакво-жа запотел с мороза.

Тишина, но еще секунду тоскующий голос армянской певицы звучит в твоих ушах. Марго оседает, тяжелеет. Ей велика ее вязаная кофта.

Не шевелишься: жертвенно готов выслушать еще песню.

Выключает радиолу.

— Хватит. А то ведь у меня меры нет — замучаю.— С усилием подымается с тахты.— Давайте кофе пить. Если не остыл.

Касаешься кофейника. Пальцы расплывчато отражаются в металле.

— Горячий.

Куда девался тот саквож? У Поли, должно быть. И кровать тоже. Где отец был в то утро?

Разливает, придерживая крышку кофейника. И себе? «Врачи не разрешают вставать...»

А Виноградову она проигрывала Комитаса?

— Спасибо, я без сахара.— А пластинку не сняла — без тебя до-слушает? — Он давно жил? Комитас?

— В тридцать пятом году умер, в Париже. Но последние двадцать лет не писал ничего.

Придержав чашку, почтительно вопрошаешь взглядом. «Так договорились, старик, в час дня в «Москве». Я позвоню, чтобы оставили столик».

— Вы, должно быть, слышали об армянской трагедии? Пятнадцатый год, когда турки почти половину нации вырезали.

Да что вы говорите? Хмурясь, осторожно ставишь чашку на блюде. Слишком горячо.

— Комитас не перенес этого. Последние двадцать лет он провел в больнице для душевнобольных.— Я говорю об этом спокойно, я даже отпиваю кофе, но вы не удивляйтесь — я ведь уже давно знаю это. Да и не подобает говорить о Комитасе с аффектацией. Но вы вдумайтесь, вы только вдумайтесь, Станислав Максимович, в то, что я сказала вам.

Вдумываешься. Двадцать лет!

— Знаете, я завидую композиторам. Их отваге.

Отваге?

— Я не оговорила: отваге. Чтобы быть счастливым — хотя бы день, хотя бы час, — надо иметь мужество. Мужество — больше ничего. Ведь это очень рискованно — быть счастливым. Рискованно, потому что счастье в любой момент может кончиться. По самой своей природе оно исключает продолжительность — счастье. А люди не любят терять.

«Я знаю, что буду счастливой. Я это однажды поняла. Лежала на скамейке — узкая такая скамейка, на могиле у мамы, а надо мной, очень высоко, верхушки сосен раскачивались».

Отважная девочка из Жаброва.

«Я так испугалась. Думала, у тебя судорога. Когда ты нырнул. У берега уже».

Стало быть, мужество. Только мужество и ничего кроме?

Солнце в стеклянном куполе. Вода по пояс. Разноцветные шапочки — синие, красные, желтые. Брызги. Дети смеются. Что-то смещается в тебе — вниз, вбок.

«Хорошо. Если вы настаиваете, что после купания в море надо выпить водки, я выпью. Не могу не подчиниться медицинскому работнику. Но вы составите мне компанию». — «Пожалуйста». — «Лихо! И что же вы будете пить?» — «А мне все равно. Я даже спирт пила. Ведь у меня спирт есть». Вызывающий взгляд: ясно вам? «Неужели? Тогда я приеду к вам в Жаброво». — «А однажды я пьяная напилась. Смешная была ужасно. А на другой день все спрашивала, как вела себя». — «Не помнили ничего?» — «Нет, все помнила. Притворялась. Интересно, когда рассказывают о тебе».

Братца бы восхитило это.

«Ну, где ваш спирт? Чему вы удивляетесь? Я ведь из-за этого и приехал в Жаброво».

— Очень люблю кофе. — Вздох — то ли наслаждения, то ли сожаления.

— А можно?

Улыбка. О чем вы говорите, Станислав Максимович! Нет, конечно, но у меня недостает силы воли отказать себе в этом. Я очень люблю кофе. Еще глоток, последний. Я так живо чувствую его губами, языком. Чувствую, как он внутрь проходит.

С любопытством отхлебываешь. Тепло и горько.

«Вот вам спирт. Я всегда выполняю свои обещания. Но ведь вы говорили, что не пьете».

Ставит чашку — с сожалением. Не смотрит на кофейник: зачем расстраивать себя? Я и так делаю преступление — мне ведь категорически запрещено.

Слышишь свой голос:

— Тридцатого сдадим работу.

Что? К чему это вы вдруг? А вы хорошо подумали, Станислав Максимович? До тридцатого меньше трех недель. Или вы это ради меня? Но я не подгоняю вас. И я ни словом не упрекну, если не уложитесь в срок. Это моя вина.

— Тридцатого апреля работа будет сдана. Обещаю. Если позволите, я налью себе еще кофе.

— Ну что вы, девушка, вы напрасно обижаетесь. Разве я утверждаю, что это не табака? Это табака, но это не дыплята. — Подмигивает, и ты солидарно скалишь зубы. — Так и передайте Александру Юрьевичу: его надули. Под маркой дыпят великовозрастных кур всучили.

Предупреждение официантке: будьте бдительны! С самим Александром Юрьевичем знакомы!

Холодные накрашенные глаза. Лилово-серебристые губы. А мне плевать — и на вас, и на Александра Юрьевича, и на табака, которые не цыплята... Злорадствуешь? По студенческой привычке, должно быть, — всегда мысленно руки потирал, когда отбрасывали его.

«Слушай, Минаев, а ты ведь сачок. Как в колхоз на картошку, так болен». — «Здоровье у меня хиленькое». — «Хиленькое! На харю свою посмотри». — «Харя ужасная, согласен. Кирпича просит, но здоровье хиленькое, ребята, это точно».

— Чего глядишь? Будку отъел? Черт его знает, и зарядкой занимаюсь и ем вроде не очень. Ну, когда поддам — люблю поесть. А поддаю часто, тут уж не отвертись. Ты как насчет этого?

— Умеренно.

— Да? А я считаю, возраст умеренности не наступил еще. Пока здоровье позволяет, надо жить. Жить!

Братца бы на твое место — как поняли б друг друга!

«Мразь твой Минаев». Почему вдруг? Вряд ли острокритичный ум художника Рябова простирается столь глубоко.

— Помню, ты и в институте славился умеренностью. Да и я, между нами, стараюсь поосторожнее со жратвой.

Жирные губы — они маячат перед тобой, куда бы ты ни смотрел. Губы — его, но это не мешает твоей руке тянуться к салфетке.

— Главное — работа, тут я согласен. Это фундамент, его труднее всего возвести. Мы-то с тобой, думаю, справились с этим. Досрочно, а?

Отбросим ложную скромность, Рябов. Всех в группе обошли, не так разве? В институте, правда, мы не дружили особенно... Я-то ничего, я ко всем с открытой душой, это ты не слишком благоволил ко мне. Впрочем, ты со всеми был сдержан, Станислав Рябов! Зато теперь мы вместе. Вон какие фундаменты отгрохали! Мы вдвоем. Даже Горбушко потстал, хотя отличник был, именной стипендиат, — ты да он, двое в группе.

— О Горбушко слышал что-нибудь?

Я? Разумеется! Я о всех знаю. Дай проглотить только. И пивка хлебнуть. Жаль, совещание вечером — нельзя покрепче чего-нибудь.

— Горбушко в Первомайском районе. — Кисло: в такой-то дыре!

— А там что?

— Завод химэлементов. Не завод — заводошко. Кажется, и пяти сотен не работает. Женился, ребенок. — С сочувствием: как можно так неосмотрительно! — Тоже, конечно, фундамент, но какой! Смолоду нужно фундамент закладывать. У Горбушко ведь неплохая голова была, а? Ну, поехал в Первомайск. Хорошо. Но через год-два можно было бы сорваться. Красный диплом — неужели б не устроился? Ко мне бы обратился, в конце концов! Самому трудно пробиться, я понимаю, но ведь существуют товарищи, соученики... Страшная вещь — инерция... Ты чего не жуешь?

— Инерция.

Смеется красными губами. Помню-помню, ты всегда был ядовит, Рябов. Но вот позвонил все же. И я помогу тебе. Я простецкий парень, Рябов. Рубаха-директор...

«Мразь твой Минаев». «Почему? Ты непоследователен, Андрей. Вон как он любит жизнь — во всех ее проявлениях. Курит, не дурак выпить. Высоко ценит женский пол и при этом не без взаимности. Эмоционально развит, словом. Ярый поклонник массовых зрелищ».

— За какую команду болеешь? — Знаменательный момент: впервые произносит подобное твой язык.

— Я? В футбол, в хоккей? — На выбор! А пока с крылышком покончу.— Ты матч смотрел вчера? Слушай, это же отвратное зрелище. Вторую шайбу как протолкнули, помнишь?.. Ветчину будешь?

— Нет-нет.— Почти испуганно. Отодвигаешь тарелку.

— Инерция? Знаю я твою инерцию! Как там Марго, не померла еще?

— Жива.— Кладешь в рот кусочек сыра.

Жуете. Щелки глаз блестят на тебя весело и прозорливо. Знаю я твою инерцию! Марго ты ловко обработал — старуха души в тебе не чаяла. Это ведь она сделала, что тебя здесь оставили. К себе в НИИ, кажется, взяла — я уж не помню. Кстати, у тебя, наверное, дело ко мне? Выкладывай, не стесняйся. Все, что в моих силах,— пожалуйста. Кооперативная квартира? Всего-то? О чем ты говоришь, старик! Три дома заложены, в какой желаешь? Я как раз курирую это.

Панюшкин на дистанции. В самом начале, только-только стартовал. «Я себя вспоминаю в ваши годы. Я таким же был, Станислав Максимович. Таким же, да. Так что ваше «нет» ничего не меняет. Я не в претензии на вас — слово мужчины».

Прожевал. Сейчас рассуждать начнет — о фундаменте. Опережаешь:

— Доедай рыбу.

— Нет, это твоя.— Не глядит, дабы не соблазниться ненароком. Я, конечно, гурман, но справедливость превыше всего.— Давай-давай.

— Не могу больше. Сыт.

Я тоже сыт, но ведь это осетрина.

— Ну смотри, тогда я дожду ее. Хрена нет — она с хренком хо-роша.

Наливаешь в фужер минеральной воды.

«Слава, ты не понял меня.— Доверчиво и с придыханием, симптом обиды.— Разве я говорю, что твои родители притесняют меня? Просто я хочу жить отдельно. Это так естественно». «Я тоже хочу». «По тебе это не видно. Не обижайся, хорошо? — Заглядывает в глаза.— Но по тебе это не видно.— У нее прямо страсть уговаривать тебя не обижаться, хотя ты столько раз информировал ее, что сухари экономисты вообще не грешат этим.-- Разве ты не можешь пойти к Панюшкину и попросить, чтобы он помог с кооперативом? Тут нет ничего зазорного. Правда, Слава, нет! Иначе разве бы я послала тебя! Ты ведь не согласишься квартиру — ты хочешь купить ее. За свои деньги». «К сожалению, не я один хочу этого». «Ну конечно! Нельзя быть эгоистом.— А теперь уже придыхание — симптом волнения.— Прости меня, но вы с мамой помешались на этом». «Перестань! Я не позволяю тебе говорить так о моей матери». Кишка тонка! Лишь диктору простительна подобная выпренность — большой, милый ребенок, баловень дома. Да и что значит: позволяю, не позволяю? Твоя жена — свободный человек и вправе высказывать любое свое мнение. И потом, говоря объективно, разве мама и впрямь не перебарщивает порой? Зачем она отказалась от путевки? — она-то в ней нуждалась не меньше работницы из шоколадного цеха. Зачем по три года не берет отпуска? Переоценивает, явно переоценивает мама свои силы.

— А вообще как-нибудь вечером надо встретиться. В субботу, а? — Что, с рыбой покончено уже? Быстро! — Это разве отдых? У тебя как жена, ничего?..— Растопыренными пальцами в воздухе играет.— Если задерживаешься?

Заинтригованно вглядываешься. Уж не приобретает ли твое лицо семейное выражение, когда ты думаешь о жене?

— Я как раз размышлял сейчас об этом. Ничего. Свои задержки я объясняю тем, что возвожу фундамент.

Неблагодарный! Он угощал тебя осетриной.

— Так как насчет субботы?

— В субботу меня не будет в городе.

«Вы все еще носите мой шарф? Не жарко?» — «Нет. Самый раз». — «Небось специально надели... Да, так я вам и поверила... До свидания. Спасибо, что зашли... Почему — не за что? Спасибо! Сейчас вы молоды, но когда-нибудь поймете, за что я благодарна вам. Наступает такой момент в жизни, когда важно убедиться, что человек, на которого ты возлагал надежды, не подвел тебя. Я рада, что не ошиблась в вас... Знаете, в чем ваша сила? В том, что вы не жадничаете. Я говорю не об элементарной жадности, не о крохоборстве — нет. О другом. Как бы это поточнее выразить? В каждом времени чего-то недостает. Что-то уже устарело и минуло, а что-то, напротив, еще не наступило. Именно это отсутствие и терзает жадного человека. Почему было, а сейчас — нет? Или почему будет, будет потом, а не сейчас? Вы не задаете этих бесполезных и неблагодарных — вот-вот, неблагодарных! — вопросов. Вы работаете с тем, что есть. Я не говорю — удовлетворяетесь тем, что есть, а именно работаете. Не брюзжите, не парите в облаках, не ссылаетесь на объективные причины, не отсиживаетесь, как крот в норе, а — работаете. Это точное слово... Кажется, я немного высокопарна — простите мне этот грех. И, ради бога, не напяливайте мой шарф, если на улице плюс пять, как сегодня».

— А в следующую субботу? Теперь, надеюсь, мы не потеряем из виду друг друга. У меня тоже лояльная супруга. Тут, старик, есть один простенький секрет: если женщина видит, что мужчина делает дело, она снисходительна к его слабостям. Надеюсь, ты побываешь у меня. Не хочу хвастаться, но... Сейчас, кстати, трудно с мебелью. Если что, могу звякнуть.

— Спасибо.

— Обзавелся уже? Мебелью?

«Да нет. Откровенно говоря, у меня еще не назрела эта проблема». «Не назрела? Ты хочешь сказать, у тебя все еще не решен квартирный вопрос? Что же ты молчишь, старик!»

— Проблема мебели у нас решается кустарным способом.

— То есть?

Извини, старик, обычно я схватываю на лету, но сейчас что-то не понимаю.

— Тесть — краснодеревщик.

Побойся бога, Рябов, полковника запаса — в краснодеревщики!

— Да? В общем, тоже ничего. Мой-то в облсовпрофе работает.— Взглядом обводит разгромленный стол.— По-моему, они неплохо заколачивают?

— Краснодеревщики? Тысчонка выходит.

Разом утратил интерес к столу.

— В месяц?

— Ну! Иногда больше. Их ведь всего несколько человек в области. — Скромно кладешь на тарелку вилку с ножом.

«Ты собирался говорить насчет кооператива. С Минаевым, по-моему». — «Говорил. Оказывается, это не в его ведении». — «Значит, еще минимум три года?» — «Значит — да».

— А мать ее? Работает?

С тестем ты переплюнул меня, старик,— тут я признаю свое поражение.

— Она специалист по космическому питанию.— Краснодеревщика испустил.— Сейчас в Байконуре — месяц уже.

«Три года. Хорошо, будем жить здесь еще три года, только прошу тебя: скажи своему папе, чтобы он не читал мне стихов про младую

рощу». У тебя совсем неплохая жена, капитан. Она умна, терпима и любит тебя.

Как там говорила девочка из Жаброва? «Я лежала на скамейке, а надо мной вертушки сосен раскачивались. И тут вдруг я поняла...» Дите, ты умудрился усмотреть в этом тонкость природы! Выходит, не все братцу досталось, кое-что перепало и тебе от бурной поэтичности диктора.

— У них одна дочь?

У них — это у краснодеревщика и специалиста по космическому питанию. Не забыть!

— Одна. А у тебя?

— В смысле — у ее родителей?

— Нет, у тебя.

Беспечностью и весельем сияет твое лицо.

— У меня сын. Два года.

За кого ты принимаешь меня, старик? Неужели я похож на человека, который плодит дочерей?

Беспечностью и весельем... Весельем и беспечностью.

«Три года... Хорошо, будем ждать еще три года».

Бандитским весельем и младенческой беспечностью...

Римский профиль официантки. За бумажником лезешь. Рука приятеля студенческих лет предостерегающе вспархивает.

— Ты мой гость.

В следующий раз ты угостишь меня, какая разница! Не будем терять из виду друг друга.

Из хандри, Рябов. Насколько тебе известно, чувство благодарности не атрофировано в тебе, но тем не менее сегодняшнее гостеприимство окажется безответным. Хоть раз в жизни испытаешь радость сквалыги, зажавшего обед.

Прощальная сигарета.

— Докурю — и потопаем. Так и не поговорили толком. У тебя... Может, у тебя дело ко мне?

Оцени тактичность! Ты ведь разыскивал меня не для того, чтобы отобедать со мной, но я сделал вид, что не понял этого, я искусно подыграл тебе, я терпеливо ждал, когда ты заговоришь о главном, намекал, что сделаю все возможное. Но ты молчишь, а времени у нас в обрез. Валяй, я слушаю.

— Никакого дела. — Твои глаза чисты и невинны. — Это Комитас все.

— Кто?

— Комитас, армянский композитор. Ты обратил внимание, что его музыка навевает воспоминания о юности? Так и тянет о былом поговорить.

Не верит: я ведь немного знаю тебя, Рябов, — ничего подобного не водилось за тобой прежде.

Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь молодая роща разрослась...

Забавляешься! Кажется, у тебя и впрямь отличное настроение. Вы не обманулись в своем ученике, Маргарита Горациевна. 30 апреля работа будет сдана. 30-го или даже раньше. Вы помните Минаева, профессор? Он преуспевает, но он барахтается в грязи и рано или поздно утонет в ней. В мире царствует справедливость — разве судьба вашего приемника не лучшее доказательство тому? Будьте спокойны за него — он не оступится и не упадет.

«Ты выигрываешь. Ты все время выигрываешь, но, как во всех бесприигрышных лотереях, крупных выигрышей нет в твоей жизни. Нет и не будет».

Ты экспрессивен, братец, но ты не прав. В мире царствует справедливость. Разве твоя судьба, художник Рябов, не лучшее доказательство тому? Но ты мне брат, и я обязан любить тебя, и я куплю тебе нынче отличную рубашку.

...А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему все пусто.

В мире царствует справедливость, только не ждать ее надо, уповая на судьбу, а смело шагать ей навстречу. Смело, но корректно.

Что с приятелем студенческих лет? Ему трудно. Он мыслит.

— Ничего не понимаю. При чем здесь композитор? А эти стихи?

— Это мои стихи.

Корректно, приятель студенческих лет. Корректно.

— Шутишь. — Проклюнулось чувство юмора. — Ты ведь не баловался стихами.

— А теперь балуюсь. Все меняется, старик. Нам не пора?

На сигарету глядишь. Не пора.

16

Теперь видишь, сколь глубоко проникла Европа в гостеприимный дом тетки Тамары? Стол с бутербродами, загнанный в угол, бар на подоконнике. Ассортимент напитков не слишком широк, но однообразие бутылок уравновешено их количеством.

Вы что-то не закусываете... Рыбу прошу... Будьте настолько добры, передайте салат... Мещанские штучки, да не прозвучат они в этом лучшем из домов! Самообслуживание. Подходи, пей, ешь.

Интеллигентно разбавляешь рислинг яблочным соком. Потягиваешь, стоя у стены. Запах духов, водки, копченой колбасы.

Бедный Джоник! Среди круговорота незнакомых людей единственный ориентир для него — хозяйкино платье. «Мой Джон привык к интимной обстановке. Многолюдье смущает его. Иди на кухню, Джон, я прошу тебя. Там тебе будет спокойней».

Борода именинника. Щуплый, скуластый, маленького роста художник Тарыгин. Без бороды, зато жестикулирует. Ах, как жестикулирует художник Тарыгин!

— А что Ренуар говорил? Разломайте ваши циркули, разломайте, иначе конец искусству!

Второй раз видишь с братцем художника Тарыгина, и оба раза они с грохотом ршат платформы друг друга.

Благовоспитанно не смотришь вправо, где карикатурист Волов развлекает твою жену. Традиция: где бы ни были вы, Лариса Рябова не обделена мужским вниманием. Ты не возражаешь — напротив, тебе лестно это. Ведь ты цивилизованный человек, Рябов.

«Не представляю женщины — понимаешь, не представляю! — которая не изменяла бы тебе».

Глоток рислинга пополам с соком.

Твоя память и впрямь старая скряга, коли даже эту гнусную инсинуацию способна удерживать столь долго. Сам братец наверняка позабыл ее. Он был пьян. Он прекраснодушно полагает, что пьяному дозволено все.

Яблочный сок смягчает вино. Пригубь еще — терпкости нет почти.

Саша Бараненко настраивает гитару. Пока общество удовлетворено магнитофоном, но настанет миг, когда оно с визгом потребует живой музыки. Дальновиден и добр Саша Бараненко.

«Ты все предвидишь, все рассчитываешь... — Смертельный грех, но Саше братец отпускает его. — Не понимаю, как ты до сих пор не задохнулся от скуки. Ведь ты не живешь — ты осуществляешь программу».

Против такой формулировки возразить трудно, но, пожалуй, можно уточнить ее. Вместо того чтобы подчиниться обстоятельствам, как это делает большинство, ты стараешься обстоятельства подчинить себе.

Исподтишка ставишь стакан на трюмо за фиолетовый флакон с золотым набалдашником. Мы все друзья здесь, мы любим друг друга, так сдвинем же бокалы — имеет ли значение, у кого чей?.. Ты предпочитаешь пить из своего, но отсюда вовсе не следует, что ты сомневаешься в санитарной безупречности присутствующих. Особое доверие в этом смысле внушает тебе Алексей Вениаминович, его голый желтый череп и дистрофичное тело. Пенсионер и по совместительству живописец. Впервые видишь его, но тебя отнюдь не удивляет его присутствие: братец никогда не грешил шепетильностью в выборе друзей.

«Признаю только один барометр — друзья. Есть друзья — живешь правильно, нет — значит, что-то не то».

Он живет правильно, а страдать должен Джоник. Пес привык к интиму, у него камерный характер, а тут вдруг столько ног и еще больше омерзительных запахов.

А почему разнообразия ради и тебе не собрать как-нибудь на свое торжество орду едоков и любителей выпить? Пусть обжираются и хлещут вино, а в паузах между икотой провозглашают здравицы в твою честь.

«Выходите в океан, Станислав Максимович. В океан! Пролив Каттегат, Скагеррак, Ла-Манш и — Атлантика» — бывший матрос Тютюник. *«Ура Рябову!»* — Скачет-зайчик. *«Глубокий исследователь, новатор, тонкий и добросовестный аналитик...»* — все остальные. И не важно, что повторяемся, что все это уже говаривалось на банкете после защиты диссертации. Истина всегда истина, а если она к тому же услаждает слух виновника торжества, то она истина вторично.

«Но ведь это не друзья, это прихлебатели». Не привык братец церемониться в выборе выражений. Пусть! При надобности ты легко поправишь бы его. Союзники. Единомышленники. Или в крайнем случае — не враги, а это уже много. Никто не лезет лобызаться с тобой, но никто не строит против тебя козни, ибо зависть, даже зависть можно усмирить великодушием и корректностью.

60:59 и 59:60, 59:60 и 60:59, пятый же — 59:59 с твоим преимуществом. Это-то не измеряемое очками преимущество и лишило исход боя. А ведь достаточно было одного твоего неосторожного удара — не нокаутирующего, которым ты, в общем-то, не владел, не просто тяжелого или хотя бы точного, а именно неосторожного, — и рефери запретил бы твоему противнику Диме Ломако, у которого поврежденная бровь едва дышала, продолжать бой. Что стоило произвести это «неосторожное» движение в пылу и азарте финального поединка, однако ты не коснулся брови. И судьи оценили это, но еще до их решения Дима Ломако сразу же после гонга высоко поднял, благодарный, твою руку. Побеждать не мудрено, не так уж много, в конце концов, требуется тут ума, но вот побеждать так, чтобы побежденный сам подымал твою руку, — это искусство.

— Пикассо говорил, что пишет не то, что видит, а как понимает. Как понимает!

А Виноградов, твой молочный брат? Что-то пока он не торопится подымать твою руку... Брось, Рябов, какой это враг! Не далее как вчера вечером у театра ты установил, что скрывается за его холодным отношением к тебе.

«Приспосабливаться к обстоятельствам...» Чепуха! По-мальчишески подводит идейную базу под заурядную ревность. Недоразумение, обычное недоразумение, и ты исправишь его играючи. Ты ведь не посягаешь на Люду, самую красивую женщину института, ты вообще не посягаешь ни на что чужое, ибо ты не пират, ты каменщик, возводящий фундамент. Просто каменщик.

Оставил карикатурист твою жену. К бару пробирается. Танцуют — одна, нет, уже две пары. Можешь пригласить супругу, но ты не делаешь этого: недостойно мужчины захватывать место временно отсутствующего. К стати, там уже черное, джерси, платье с зеленым врезом. Тетя нетороплива, она ненавидит суету и, разумеется, попевает всюду. Ты не смотришь на нее, она не смотрит на тебя, но она знает, что ты замечаешь все и ценишь ее благородство. Так ведь, Станислав, ценишь? Я не очень люблю твою жену, и ты знаешь почему (не знаю, тетя! ей-богу, не знаю), но сегодня я хозяйка и все гости равны для меня.

А впрочем, догадываешься. Не знаешь, но догадываешься. Не та ли готовность к смеху, которая постоянно живет в твоей супруге, вызывает тайное раздражение самолюбивой и мнительной тетки Тамары, сводя на нет и ласково-сострадательный взгляд и нежный голос? Тетя попросту не верит им.

Тишина вдруг — пленка кончилась? — и снова о Пикассо, который, оказывается, считал, что живопись не поддается исследованиям, а вечно остается вопросом. Вечно! И если называть вещи своими именами... Но ты не услышал, что будет, если называть вещи своими именами, ибо опять грянула музыка.

Карикатурист возвращается к твоей жене — с полными рюмками, но без бутербродов, тетя же тактично удаляется. И вот уже она возле тебя. Ты светски заводишь разговор о югославской эстраде. Она понимает тебя с полуслова. Да, конечно, о чем ты говоришь, Станислав, я сделаю тебе два лучших билета. При этом, заметь, я даже окольно не спрашиваю, с кем ты идешь, мне до этого нет дела, и уж, поверь мне, я ни словом не обмолвлюсь твоей жене. Спасибо, тетя. Только на сей раз ты ошибаешься, я ни с кем не пойду. Пойдет Люда, самая красивая женщина института, а с ней Юра Виноградов, мой молочный брат, последний аспирант профессора Штакаян. Именно они. При этом ты оставишь в силе свое приглашение на шампанское, только уточнишь, что надеешься распить эту бутылку вдвоем — она, ты и Юра Виноградов, который глубоко симпатичен тебе. Он ведь чрезвычайно талантлив, Люда, и очень, очень порядочен. Она благодарно улыбнется в ответ, самая красивая женщина института.

А вдруг это и впрямь не ревность, вдруг — другое?

Кандидат! Не будь мнителен, как твоя тетя. Учись у супруги. «Мог бы поухаживать за кем-нибудь — там были интересные женщины». А у самой в глазах, сияющих быть серьезными, уже летают искорки. Что забавного видят они? Есть, кроме нее, и другие интересные женщины — это? Или вдруг представляет тебя в роли великосветского волокиты? Так или иначе, но жена преподнесла тебе урок демократичности — прояви же и ты себя достойно! Отныне карикатурист Волон не интересуется тебя.

Лавируя между танцующими, плывешь к Саше Бараненко. Навстречу Поля лавирует с бутылками минеральной воды — старая няня и здесь отыскала себе работу. Любопытно, вернул ли ей братец загодя подаренные носки в целлофане?

Дружелюбной улыбкой встречает тебя Саша Бараненко. Из нынешнего цикла друзей братца единственно с Сашей знаком ты накоротке. Среди творческой интеллигенции, безраздельно царящей тут, лишь вы двое, грубые утилитаристы, представляете земные профессии. Впрочем, к Саше, бортинженеру Аэрофлота, это можно отнести с известной натяжкой.

«В Москву летал... Там изумительная выставка сейчас. Саша Бараненко протащил — зайцем. Туда и обратно».

Не в этом ли тайная причина их затянувшегося приятельства?

«Не надо так плохо думать о людях» — Lehgerin.

— К бою готовимся? — на гитару киваешь. «*Между прочим, позавчера на вашем самолете в Крым летал.*»

Саша парит в небесах, а девочка Лида смиренно ждет его на земле. Она всегда ждет его, даже когда он рядом. Посмотри, как счастлива ее замершая фигурка — вот он, ее Саша, около нее, и ей ничего не нужно больше. Впитывать Сашин запах, слышать брэнчание струн, трогаемых Сашиними пальцами... Конопатое счастливое личико в рыжих завитках.

Пристраиваешься рядом.

— Не танцуется?

Лида улыбается в ответ. Мне хорошо, я счастлива, и вы это видите, правда? Я знаю, что я некрасива, но я добрая, я очень-очень добрая, и я люблю Сашу.

Ну что вы, Лида! Вам чудесно идет ваша белоснежная блузка в синюю звездочку. И пышный бант на довольно-таки плоской груди. У вас, случайно, нет рябого приталенного пальто и легкого платка в крупный горошек? Выхватив из темноты навесы, кабинки для переодевания, скелеты грибков, которые скоро обтянут парусиной, прожектор уходит, и все предметы и рябенькое пальто быстро и косо перемещаются — предметы и пальто в одну сторону, а резкие тени от них в противоположную. С моря дует ветер.

Откровенно говоря, выбор бортинженера представляется тебе странным. Красивый и большой мужчина, летающий мужчина, мужчина, который играет на гитаре, — и куда только смотрят женщины!

— А вы почему не танцуете?

У нее глаза рыжие, или это рыжие завитушки отбрасывают отсвет?

— Не владею этим сложным искусством.

«Ich bitte Sie den nächststen mit mir zu tanzen»¹⁷.

Вы неправду говорите, да? Это ведь так просто — танцевать! Вы смеетесь надо мной? Смеетесь, я знаю. Вы думаете, раз я такая молоденькая, то уж и не понимаю ничего.

— Все люди умеют танцевать.

— Тогда я урод. Впрочем, однажды я танцевал. В детском саду на елке. Зайчика изображал.

Присесь на корточки и поскакать, приставив к затылку два растопыренных пальца. Через всю комнату, между танцующими, к спутнице жизни, которую развлекает карикатурист Волов. «*А это мой муж. Как все ученые, он немного рассеян. Иногда по ошибке принимает себя за зайца.*»

Приснув, прижимает ко рту рыженькую ладонь подруга Саши Бараненко.

— Представили меня в образе зайца?

Часто виновато кивает. С вами так весело — обсмеешься прямо, но люблю я все-таки Сашу.

¹⁷ Я приглашаю вас на следующий танец.

«Вообразите только, Эльвира Ивановна: среднесуточный рост бамбука три миллиметра». «Ах, неужели! А вы Петушкова знаете? Ему гланды вырезали, так они опять выросли. За неделю, как бамбук».

Запах кипарисов стимулировал чувство юмора: перлы остроумия обрушивал ты на девочку из Жаброва. Она смотрела на тебя сбоку и смеялась. Плотные, очень белые зубы, в которых сверкало крымское солнце; один, вытесненный другим, рос немного вкось.

— Это Джоник, и он тоже не умеет танцевать. Как видите, я не исключение здесь.

Она любит Сашу, а ты лезешь к ней со своими идиотскими шутками. Встань и присоединись к пенсионеру-живописцу, который наслаждается Тулуз-Лотреком. Шумный успех имеет подарок тетки Тамары.

Еще не менее двух часов веселиться...

«Я сейчас почувствовал, как время идет. Когда прожектор меня осветил. Оно идет, а я стою. Даже странно как-то».

«Странно» или «страшно» сказала она? Пожалуй, «странно», ибо чего ей бояться — ведь она знает, что будет счастлива. Она поняла это, когда лежала на спине и высоко над ней поэтически раскачивались верхушки сосен. А если б не сосен, если б акаций, что, интересно, тогда бы поняла она?

Вы тоже интересуетесь Лотреком? По-братски уступает местечко рядом с собой пенсионер-живописец: вместе будем упиваться шедеврами!

— Чистый Дега, не правда ли? — Зубной пастой «Мятная» веет от полированного черепа. — Та же тесная композиция, и колорит тот же — не находите?

Находишь. Эксперт в вопросах живописи Станислав Рябов...

Помедли, изучи — с кондачка не решаются столь хитрые проблемы. Зорче взглядишь в эту медноволосую даму с обнаженной спиной, которую она неизвестно зачем демонстрирует зрителю. Позарез необходимо знать человечеству таинства женского туалета.

— Для Лотрека это не характерная вещь, вы согласны? — Бережно переворачивает лист. — Хороша, но не характерна. А вот это уже чистый Лотрек!

Жирная потаскушка, неряха с распущенными волосами, всей тушей навалившаяся на туалетный столик, — чистый Лотрек!

Братец в полуметре от вас, слышит, но квалифицированные рассуждения пенсионера не зажигают его. Иными проблемами поглощен мастер.

— ...Почему у меня всегда все так сложно? — Веру пытается. — Почему?

Дух захватывает у братца — от противоречий и бескрайности собственной души.

Перейми у братца опыт осложнения жизни — это разнообразит твое существование. На карикатуриста Волова взгляни — видишь, он вновь наполнил рюмку твоей жены. На этот раз он оказался галантней: снабдил ее четвертинкой яблока. Посмотри, помучайся, поревнуй — будет и у тебя сложно.

Жена замечает твой взгляд. Жена интимно улыбается тебе, жена подымает рюмку, символически с тобой чокаясь. Я люблю тебя, мой Рябов, только тебя, а все остальное так, игра — ты ведь понимаешь меня.

Не выходит трагедии. Жизнь катастрофически упрощается, едва ты касаешься ее, — от головокружительных экономических проблем до неурядиц семейного плана.

«Не посоветуешь, что мне надеть?» Вчера вечером, конечно, ты обошелся со мной по-свински — предпочел мне статью какого-то Мирошниченко. Но я не злопамятна, как видишь. В отличие от тебя. Я даже советуюсь, в чем пойти на день рождения твоего брата. «По-моему, это все равно. Любая одежда только портит тебя».

Она справедливо расценила это как комплимент и надела брючный костюм. «Он нравится тебе», — чуть виновато, хотя, право же, Слава, я тут ни при чем.

Карикатуристу он тоже нравится, и тоже она тут ни при чем. Не на двоих ли думают разделить четвертинку яблока?

— Дега считал: нет художника рациональней его. — Откуда все же этот мятный запах? Или пенсионер-живописец на ночь полирует лысину зубной пастой? — Все, что он делает, это якобы результат обдумывания и изучения старых мастеров. Так он сам заявлял. О темпераменте и вдохновении, говорил он, я ничего не знаю.

— ...Ты не веришь мне. Ты думаешь, у меня все пройдет, и тогда... — Братец смолкает вместе с музыкой.

Бренчание струн — Саша Бараненко берет власть в свои руки. Нет, пленка не кончилась.

«Все пройдет, и тогда...»

— И тогда? — напоминает Вера.

Ты не видишь ее. Ее черные блестящие волосы собраны в пучок. Красивая шея.

— И тогда ты вернешься к нему. Он примет тебя — ты это знаешь.

И такому мужу она предпочла — пусть даже временно — твоего брата!

«Почему ты решила, что я бросаю жену и ребенка? А может, жена не хочет жить со мною?» — «Она не хочет, потому что ты ведешь себя безобразно». — «Ты так считаешь? А тебе не кажется, что супружеская верность может быть безразличней самого дикого разгула?» — «У вас есть ребенок». — «У тебя их двое. Но ты жертвовала нами ради соевых батончиков».

«Высокое. Очень высокое». Цифры не назвала, дабы, видимо, не пугать пациента — просто «высокое, очень высокое» — и потребовала немедленной госпитализации, но мама, уже окончательно придя в себя, отказалась. Как можно в конце года оставить фабрику без директора!

— Вы согласны со мной? — Пенсионеру просто необходимо знать твое мнение.

— Согласен. Хотя среди присутствующих, откровенно говоря, я самый крупный профан в живописи.

— До нас не дошли скульптуры Дега, а Ренуар считал их лучшим...

— Ты разлюбишь меня, и я вернусь к нему... Как всегда, ты думаешь только о себе.

Браво, Вера!

— Я не о себе думаю.

— Нет, Андрей. — Кремовое платье без единой побрякушки. Красивые нервные руки. — Я вернусь, когда ты разлюбишь, — ты так сказал. Когда ты разлюбишь. А я? Мое чувство, по-твоему, значения не имеет — я все равно вернусь.

«Мне пора. Я обещала сыну, что в одиннадцать буду». Братец молча поднялся; ты редко видел, чтобы он покидал питейное заведение с такой легкостью.

«Сколько лет Веринуму сыну?» — «Шесть». — «А вы не обладаете таким сокровищем?»

Lehregip покорибил этот разговор — не здесь ли причина ее неожиданной метаморфозы?

А четвертинка яблока исчезла уже... На пару съели? Откусила — осторожно, чтобы не размазать губы, оставшуюся же часть быстрым, как бы шутливым движением сунула в с готовностью разинутый розовый рот карикатуриста?

Звонок. Еще гости?

Гибкое черное платье с зеленым врезом скользит к двери. Следом, вынырнув из-под стульев у стены, торопится Джоник.

Саша Бараненко один со своей гитарой. Танцует подруга.

Дуновение свежего воздуха — входную дверь открыли.

Подруга Саши Бараненко поворачивается к тебе спиной, и ты видишь ее партнера. У него металлические зубы, он стеснителен и тих, но даже братец, заметил ты, сдержанно-уважителен с ним. Что-то гуттаперчевое в его длинном лице... Как он назвал себя, знакомясь?

Пенсионер-живописец переворачивает наконец лист с потаскушкой. Говорит что-то.

— Я уже не мальчик, Вера. Я устал. И я знаю, что мое отношение к тебе не изменится... Я не то говорю. Изменится, конечно. Успокойся. Но так у меня...

Отец!

Крупная рыбина в руках. Свитер.

«Рыбак ты прекрасный, отец, но кулинар еще лучше. Надо завтра на бис повторить пирог. С цифрой «тридцать»...»

Карманы ватных брюк оттопырены.

«Но, может... Может, он любит другую». «Я не понимаю тебя, Максим. Он вправе любить кого угодно — этого я не знаю, но я знаю, что нельзя строить свое счастье на несчастье других».

«Я не понимаю тебя, Максим!»

В шерстяные белые носки заправлены штанины. Только-только с рыбалки, сын. Не переоделся даже. Принимай подарок!

— Судак! — Двумя руками протягивает. Такой рыбины он не притаскивал еще.

К свитеру прильнула растроганная борода. Я так благодарен тебе, папа, — все же ты не забыл меня.

Озадаченно хмурится диктор. На сыне костюм, довольно приличный, как это ни удивительно, так как же примет он уникальный дар?

Рыбина тяжело провисла в руках, хвост осклизло слипся. Озирается диктор. На пол шмякнуть?

Музыка смолкла ввиду торжественного момента. Чудо-рыбой поглощено общество. Расспросы, восторг. Максим Рябов счастлив — наконец-то он в центре внимания, вот только проклятый судак мешает принять соответствующую позу. Тяжеловат, да и держать неудобно на вытянутых руках.

«Ну-ка дай мне!» С усилием растягивает твой эспандер — раз, другой. На пятый возвращает. «Фу! А ты сколько?» Размеренно считаешь до сорока. В мышцах гудит, но ты улыбаешься в лицо диктора. До бесконечности готов продолжать.

Слизь тянется из мертвого рыбьего рта.

— Всего трое ловили. Лед ни к черту. Зато шансы!

Одышка, но никто, кроме тебя, не замечает ее. Папа — профессионал. Папа умеет владеть голосом.

— Это отец Андрея? — На ухо. Пенсионер-живописец вернулся к действительности.

— Да. И мой тоже, кажется.

«Поля тебя тоже любит. У нее статьи твои есть — вырезки. Да и Осин... с уважением к тебе относится».

Художник Тарыгин, энциклопедист, оказался в числе прочего и знатоком подледного лова. Это скверно — он загораживает тебе зрелище.

Перемещаешься вправо. На живот сползла рыбина. Как долго еще выдержит?

— На кухню давай.

На кухню! И после этого братец считает себя психологом! Затем ли, тайно раздевшись в прихожей, впер он сюда это чудо, чтобы через минуту самому же унести его? Он должен, он обязан торжественно вручить материальное воплощение своего триумфа. Кому только?

Взгляд твой проворно обегает присутствующих. Не все туалеты выдают изысканность вкуса, но надо отдать должное: на судака ни один из них не рассчитан.

Поля! Старая няня держится в стороне, но еще секунда — и диктор, увидев ее, обрадованно вскидывает рыбу. Знамя не брошено — оно передано из рук в руки.

— Штрафную? Согласен, но учти, сын мой: я должен быть в форме. Мне еще судака готовить.

Так провозглашают декреты.

— Зачем? Полно закуски.

Скептически оглядывает стол. «Ты знаешь, что было последней книгой Александра Дюма?»

— Это разве закуска? Сорок минут — и вы узнаете, что такое настоящая закуска. Нет, я хочу выпить со всеми. За тебя, Андрей. Если общество не возражает, я скажу тост.

Как может возразить общество?

Покорно направляешься к трюмо, извлекаешь из-за флакона с золотым набалдашником персональный стакан.

Ведает ли директор кондитерской фабрики, где сейчас ее муж?

«Отец у нас добрый малый, но у него жена, в присутствии которой неприлично быть добрым».

Не добрым. Жена, в присутствии которой неприлично быть рохлей. Но разве станет братец вникать в подобные тонкости! Свое гнет: Иванушкой-дурачком заделался папа, ибо Иванушке-дурачку простительно все.

— Сегодня замечательный день в твоей жизни, сын мой. Тридцать лет! Возраст, который подводит черту молодости и открывает зрелость. Стихи будет читать.

Общество покорено. Такой судак, такая грива — седина и благородство, прекрасно поставленный голос и при всем том овечьи носки и свитер.

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянушей за смятение всех,
Верь сам в себя наперекор Вселенной
И маловерным отпусти их грех...

Премьера — этого ты не слышал. Специально ко дню рождения приготовил? Опускаешь стакан. Что за стук возле тебя? Косишься. Джоник. Умиленно глядя на хозяйку, бьет хвостом по паркету. Умный Джоник!

...Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушной и мудрей других.

Зачарованные рыжие глаза Лиды. Я люблю Сашу Бараненко, я очень люблю Сашу Бараненко, но и этот человек — прелесть.

Вольтеровская улыбка на губах тетки Тамары: такое ли слыхивали эти стены!

Братец подтянут и суров: отцовской мудрости внимает. Когда последний раз было это? Лет десять тому?

Снисходительно полуприкрыл глаза пенсионер-живописец. Весьма занятно, но лично я предпочитаю Дега.

Умей поставить, в радостной надежде,
 На карту все, что накопил с трудом,
 Все проиграть и нищим стать, как прежде,
 И никогда не пожалеть о том...

«Отца жалко. У него была женщина, я знаю, но он боялся потерять нас и потерял себя».

Солидарность! — но не мужская, нет, ибо в них обоих, отце и сыне, меньше мужества, нежели в одной Александре Рябовой.

Останься прост, беседуя с царями,
 Останься честен, говоря с толпой;
 Будь прям и тверд с врагами и друзьями...

Маху вы дали, телевизионщики, маху! Как не оценили вы этот гордый пафос! А это породистое лицо?

Когда, кстати, он успел побриться? Судя по его живописному виду, он ввалился сюда прямо с рыбалки.

Наполни смыслом всякое мгновение...

С ним ли рыболовное снаряжение? Или забежал домой, побрился, оставил коловорот и снасти и не переодеваясь — сюда, на день рождения первенца! В ватных брюках, свитере — не обессудь, сын мой: прямо с озера! Теперь видишь, как я люблю тебя? А вы, друзья и соратники именинника, радуйте глаз рыбацким колоритом, дивитесь, как широк может быть человек. Виртуозный артист, постигший душу высокой поэзии, и одновременно мужик, который не чурается заурядной рыбалки.

— За тебя, сын мой.

Ухмыляясь, чокаешься с теми, кто протягивает тебе рюмки, отпииваешь немного. В подполье уходит стакан — на прежнее место, за флакон с набалдашником. Незаметно перемещаешься в прихожую. Полушубок — не на вешалке, на габуретке; вязаная шапочка, сапоги. Ни коловорота, ни снастей.

Был, стало быть, дома. Был и не переоделся. Карнавал! И тут карнавал. Лишь на лице матери никогда не бывает маски — честное и спокойное в своем непритворстве лицо.

— Привет! А ты чего здесь? — жуя на ходу, спешит диктор в кухню, к своему судачку. — Сейчас тост такой был! — с соболезнованием: экого удовольствия лишился!

— Я участвовал.

— Да? А я не видел тебя.

Мудрено ли — как различить со сцены подробности зрительного зала?

Свитер под самый подбородок — снимал, должно быть, когда брился. Снял, побрился, протер кожу одеколоном «Кремль», удовлетворенно похлопал ладошкой по гладкому лицу. Снова надел.

— Чего улыбаешься? — Неладное заподозрил.

Ясные глаза взрослого ребенка.

— Жизни радуюсь. Весна!

А возможно, вернулся еще днем, принял ванну, отдохнул, а затем вновь облачился в колоритную рыбацкую робу.

Соглашается:

— Весна. — Полной грудью вдыхает спертый воздух. — С подледным — все, до будущей зимы. — В кухню входите вдвоем. — Видел какой? Красавец! А ты говоришь — «Нептун». «Нептуну» и не снилось такое. — Рукава засучивает.

А как директору фабрики объяснено таинственное вечернее бегство из дому? День рождения сына — причина неуважительная. Беспринцип-

ным мальчишкой надо быть, чтобы после всего, что произошло, явиться на торжество тридцатилетнего оболтуса.

Одна сейчас над своими бумагами, где надежно рассованы по графам «Мишка косопалый» и «Вафли апельсиновые». Две, три, четыре таблетки раунатина... Не помогает. Зажмурив под очками глаза, сидит неподвижно — благо никого нет и можно позволить себе передышку. Оставь этот балаган — туда, к ней, вот только что скажешь ты, явившись? «Салют, мама! Нет ли у нас горчицы?» И секунды не задержится на ней твой жизнерадостно летящий взгляд, но даже так, мазнув, заметит усталость и бесконечное одиночество в глазах. За что? Нет человека на земле, которого б она обидела или обделила в пользу себя, — нет, но люди на всякий случай держатся от нее подальше.

— Сейчас мы его... — Ножом вооружается.

Музыка возобновлена. Можешь вернуться в комнату: пенсионер-живописец недообъяснил принципиальной разницы между Дега и Тулуз-Лотреком.

Братец. Торжественно, как свечи, несет по обе стороны от бороды полные рюмки.

— Давай, отец. Еще по одной. — Расслабленный, съехавший набок галстук на хемингуэевской шее.

— Хочешь, чтобы я испортил судака?

— Ну его к черту, судака! Давай выпьем.

Хулиганство! Чистое хулиганство — посылать к черту судака, но чего только не простишь первенцу!

«Летит! Летит!»

Большой плоский змей, разрисованный акварельными красками, — одна из первых работ будущего художника. «Часов в двенадцать лучше. Раньше не могу — у меня эфир». Братец великодушно переносит запуск.

Мчишься по пустырю, зажав в руке конец суровой нитки. Дернулась, потянулась, рвется из рук. Оглянуться не смеешь: приказано жать что есть мочи. Нитка напряженно дрожит. Мгновениями ослабевает вдруг, словно проваливается. «Летит! Летит!» Даже самый искушенный радиослушатель не узнал бы в этом истошном вопле баритон диктора.

Кладет нож с налипшей чешуей, критически осматривает мокрые руки. Двумя пальцами — рюмку.

— А Станислав? — Как-никак, но ведь и он сын мне.

Братец тяжело поворачивает голову. Как, и ты здесь?

Кланяешься. Рад приветствовать именинника.

Художник не разделяет твоего восторга.

— Будешь? — Влажные воспаленные веки.

— Я уже пьян. — Тебе весело. В комнате куролесит музыка.

— Нет-нет! — В одной руке диктора рюмка, другую вытирает о полотенце. — Мы непременно должны выпить втроем. Непремсно!

Не этим ли полотенцем освежает Поля посуду?

— За судака? — Любознательность, не более.

Братец не считает возможным послушаться родителя. Молча ставит на краешек стола рюмку, уходит, возвращается еще с одной. Благоговейно принимаешь.

— За тебя, отец! — Осушает махом. Протяжно втягивает трепещущим носом воздух — закуска!

Диктор страдает, но пьет. Ты медлишь. Тебе видится, как сырые губы пенсионера-живописца припали к рюмке — той самой, что сейчас в руке у тебя.

— Я рад, что мы вместе сегодня. — Еще больше папа рад, что водка наконец там, внутри, и можно перевести дух. — Что бы ни случилось, бывают дни, когда люди должны быть вместе.

Глубоко и поучительно. Внимаешь, забыв о рюмке. Папа несколько опоздал на торжество, но так уж получилось — он чистосердечно раскаивается в этом.

Гмыкаешь.

С суровым вопросом глядит на тебя братец: что означает сей звук? Ничего. Лично ты прощаешь отцу его опоздание.

— Прямо ведь с озера. — Невинно ухмыляешься.

Диктор не оспаривает. Диктор подробно объясняет технологию подледного лова. Она такова, эта технология, что при всей пылкости отцовских чувств он никак не мог освободиться раньше.

Нежно глядишь на свежевыбритые щеки. Мерещится или вправду различаешь запах одеколона?

Братец не спускает с тебя глаз. Что примечательного отыскал он в твоей физиономии? Весело взглядываешь на него. Розовые прожилки в белках глаз. Под бородой скулы напряглись. Отворачиваешься. Да-да, папа, продолжай, я слушаю тебя. Это чрезвычайно интересно — подледный лов. Или ты уже не о лове, а об узах, что неразрывно связывают отцов и детей? Это тоже интересно. Самый раз на стихи перейти.

Руку протягивает братец к твоей рюмке.

— Дай.

Папа, осекшись на полуслове, вникает в сцену. Этот ракурс семейных уз не очень понятен ему. Ничего, папа, сейчас поймешь.

Послушно разжимаешь пальцы. Рюмка перекочевывает на стол — очень осторожно, не потеряв ни капли.

— Бог дал, бог взял. — Ты настроен теологически.

— Зачем? — недоумевает папа. — Он ведь не выпил.

Добрый, добрый человек — диктор областного радио! Теперь уже ты явственно различаешь запах одеколона.

— Не надо, чтобы он пил.

Поблагодари: брат заботится о тебе. А на тон не обращай внимания: человеку трудно сейчас. «Нет, Андрей... Как всегда, ты думаешь только о себе».

— Почему — не надо?

Не спеши, папа. Наберись терпения — это чуть посложнее подледного лова.

— Ему вредно пить. Он должен беречь свое здоровье.

— Но сегодня такой день.

Ах, папа!

«Летит, летит!» Вскинутое в небо счастливое лицо. Ветер гриву треплет, тогда еще не тронутую сединой. И хвост змея треплет. Ты наивный человек, папа.

— Ему всегда вредно.

Признательно улыбаешься. Именинник намерен сказать еще что-то? Если нет, ты удалишься в комнату. У отца с сыном, надо думать, найдется о чем поговорить.

Намерен.

— Неужели тебе не страшно?

«Поля тебя тоже любит. Она всегда спрашивает о тебе. Просто она стесняется тебя. И Осин... к тебе с уважением относится».

А еще мама. Она тоже относится к тебе с уважением и даже убивает в холодильнике кефир, ибо вундеркинд терпеть не может теплого кефира.

— Тебя интересуется, страшно ли мне. — «Какой я подонок! Но я убежал, потому что у меня пошла кровь. Я ничего не видел. Физически ты смел, не спорю, но, может быть, это не смелость». — Однажды ты

сам ответил на этот вопрос. Ты сказал, что недостаток фантазии лишает меня радости страха. Помнится, тогда у тебя шла кровь носом.

— Какая кровь? Андрей! Станислав! О чем вы? Вы зачем собрались тут?

— Есть судака, — выдвигаешь гипотезу.

— Извини, отец. Он хочет унижить меня. — Невинен и мудр. — Я не об этом страхе говорю. — Сигареты в руках.

— О страхе одиночества. — Расхлябанно улыбаешься. Какая буйная музыка гремит в комнате!

«Спасибо, Станислав Максимович. Спасибо! Когда-нибудь вы поймете, за что я благодарна вам».

Братец не глядит на тебя. Братец охлопывает карманы брюк, осматривается. Напрасно! — спички отсутствуют в ультрасовременной кухне тетки Тамары. Электрозажигалка для газа. Прикуривает от конфорки. Запах паленого.

— Идите-идите! Через полчаса горячая закуска будет подана. Конечно, это будет не фискеболлар — Станислав пробовал, он знает, что такое фискеболлар, — но все же, думаю, гости останутся довольны.

Папа — миротворец. Рыбья чешуя прилипла к гладкой щеке.

— Не волнуйся, отец, все хорошо. — Опаленные брови. — Я покурю здесь.

Как тщательно выбрито лицо диктора!

— Чешуя. — И, показав глазами, неторопливо удаляешься.

«Неужели тебе не страшно?»

«Большое спасибо! Я рада, что не ошиблась в вас. Как это важно, что человек, на которого возлагал надежды, не подвел тебя! Большое вам спасибо».

Супруга с карикатуристом танцует. Вера — в одиночестве, у «бара», в задумчивой руке — бокал. В окно глядит, а там, за черным стеклом, парит комната. Вам не страшно, Вера?

Что-то мягкое у ног. Джоник.

— Где Андрей? — спрашивает совсем рядом тетка Тамара. Седая аккуратная голова высоко поднята, но это не помогает: все равно заметны морщинки на шее.

— Андрей на кухне. Фискеболлар стряпает.

Тетя вольтеровски улыбается. Очень, очень тонко, Станислав. Большинство, конечно, не оценили б, но я (я!) понимаю тебя с полуслова. Ты умница, племянник.

Художник Тарыгин гневно жестикулирует. Приближаешься.

— По-вашему, это верх искусства. На колени готовы плюхнуться. А я считаю, это еще не искусство. Это манифест. Указатель на дороге. Подмостки — вот что это такое. Роскошные подмостки, на которых ни черта не происходит. — От ярости скулы порозовели.

«А народные песни Комитаса! — На краешке тахты, без дыхания. Мгновенье — и взлетит. — Приедете в Армению, вспомните и узнаете».

Металлические глаза — негодует художник Тарыгин. Пенсионер-живописец морщит сырые губы. А вы горяч, молодой человек, крепко-с горяч. Но это хорошо. Продолжайте, мне по душе ваш темперамент.

— Импрессионизм — это техническое изобретение. Чисто техническое. Как телевизор. Как цветное кино.

Красные, синие, желтые шапочки... «Ты дальтоник, и не только в зрении — во всем».

— Сезанн, Ренуары — все это гурманы в искусстве. Они смакууют коктейли, когда рядом...

«Знаете, я завидую композиторам. Их отваге. Да-да, отваге. Чтобы быть счастливым — хотя бы день, хотя бы час, — надо иметь мужество. Только мужество, больше ничего».

«Да, я хотела, чтобы вы приехали в Жаброво. Я ждала вас, очень ждала. Да вы и сами заметили, как обрадовалась я, когда вы вышли из автобуса. А сейчас... В Крыму вы были другим. Или, может, мне показалось. Пальмы, море. Я люблю шампанское, но сегодня я...»

— Андрей! Я думаю, вы рассудите наш спор.

А ты и не заметил, как вошел братец.

Надеваешь осмысленное выражение: чрезвычайно заинтриговала дискуссия о живописи. Во всяком случае, это куда занимательней вашего с братцем диалога на кухне. Не случайно он состоялся именно там — на традиционном плацу кастрюле-плиточных баталий.

«В Крыму вы были другим. Вы обманули меня. Зачем вы надели шарф, когда пошли к Марго?»

Что за чушь?

Как там фискеболлар? Предвкушающе втягиваешь носом воздух.

— Вы передергиваете! Я не говорил, что отрицаю импрессионизм. Я не отрицаю его, это шаг вперед, но только в форме. А по сути? Помните: выставки импрессионистов — первые выставки! — совпали по времени с нашими передвижниками. Но что там, а что здесь? Пока Дега корпел над «Голубыми танцовщицами», Перов создавал «Тройку» и «Чаепитие в Мытищах». Там ломали голову, какой оттенок у травы в полдень, а здесь думали, как жить.

Вот и союзник у тебя отыскался — да здравствует художник Тарыгин! Ты бы охотно поддержал его, ты привел бы данные о голодающих на планете, но он не к тебе апеллирует — к братцу.

«Тебе плевать на всех этих голодающих. Если тебе плевать на одного человека, вот хотя бы на эту стюардессу, которой плохо... Ты задумывался, почему ей плохо?»

Задумывался. Ей мужества не хватает. Чтобы быть счастливым — хотя бы день, хотя бы час, — надо иметь мужество, больше ничего.

Где твоя жена? Музыка буйствует, а их нет среди танцующих.

У «бара» — с рюмками, вдвоем. Четвертинкой яблока закусьвают?

«Зачем вы приехали? Вам ведь не нравится, что у меня один зуб неровный». «Глупости! Я думал о тебе в бассейне. Я хотел еще в пятницу приехать. Бросить все и приехать».

Тишина. Пауза, или пленка кончилась?

— Может быть, Сезанн и гений — его «Дом повешенного» милая картинка, — но мне он отвратителен. Прожить семьдесят лет и все семьдесят лет биться над тем, как лучше изобразить яблоко. Люди умирали, голодали, а господин Сезанн рисовал яблоко. На улицах баррикады возводили, а господин Сезанн рисовал яблоко. Дрейфуса приговорили к каторге — ну и черт с ним, есть Золя, он защитит его; у господина Сезанна поважнее заботы — он яблоко рисует. — Он безвкусно одет, художник Тарыгин, но ты готов простить ему даже это. — Вы думаете, Перов не нарисовал бы яблоко? Посмотрите «Проводы покойника» — мастерства там не меньше, но об этом...

«Дом повешенного», «Проводы покойника»...

«Иногда мне жутко бывает. Я боюсь, что сделаю с собой что-нибудь. Тогда я ухожу из дому и гуляю до утра». Сверхнервная натура — может ненароком укукошить себя. Или ухо отрезать. Кому из художников принадлежит этот почин?

«Ты даже не сможешь убить себя. Чтобы покончить с собой, надо хоть немного любить себя».

«Какая кровь? Андрей! Станислав! О чем вы?»

Почему вдруг отец заговорил о крови?

— Андрей, вы странно отмалчиваетесь.

Какая нелепость: чтобы покончить с собой, надо любить себя!

— У меня тост.— Ни на кого не глядит. Складка между опаленными бровями.

За что его любит Вера?

Снова музыка — должно быть, эта пленка не кончится никогда. Ты ничего не имеешь против: музыка учит людей быть счастливыми. Мужественные люди — композиторы!

Выключает магнитофон. Потерпите с танцами! — я именинник и я желаю сказать тост. За Тулуз-Лотрека! За искусство, которое вечно! Если б не было Эйнштейна, теорию относительности все равно б сформулировали, но не родился на свет Рафаэль, мир не узнал бы «Сикстинской мадонны».

Наливайте, я подожду. Карикатурист и твоя супруга готовы — предусмотрительные люди. Бережно извлекаешь из-за флакона с набалдашником свой стакан — нетленный, как искусство.

— Мы тут говорим о Сезанне, о передвижниках. О гармоничной личности. Все это хорошо.— Но «Сикстинская мадонна» лучше. Что ж, ты готов выпить за мадонну, раз того желает именинник. До дна! У тебя прекрасное настроение, капитан! — Я тоже верю в гармоничную личность, но до нее еще далеко. Мы все пока что разновидность питекантропа. Человек — впереди. Наша планета знала и людей, но это были единицы. Когда-нибудь их будут миллионы. Искусство тоже внесет в это свою лепту.— Еще бы! Кудесник Сезанн ликвидирует голод на земле натюрмортными яблоками.— Искусство — это компас человечества. Оно показывает направление. Идеал. Но компас сам по себе не рождает движения. Для этого другое нужно. Техника нужна. Наука. Нужны люди, которые смыслят в этом. Которые посвящают этому жизнь. У них нет времени заниматься тонкостями цвета и линии.— А как же мадонна? Ты чувствуешь себя идиотом.

— Знаете что? — спрашивает братец и несколько долгих секунд сосредоточенно смотрит перед собой.— Знаете что...— повторяет он глухо.— А ведь они жертвуют собой, эти люди. До гармоничной личности еще далеко, но именно они приближают ее. Приближают тем, что отказываются от собственной гармоничности. Это трудно. Гораздо легче... Нет, не легче. Не легче... Радостней — вот! Гораздо радостней упиваться вот этим,— в Тулуз-Лотрека с яростью тычет пальцем,— нежели думать о хлебе насущном. Искусство — это праздник человечества, но праздник невозможен без будней. И чем величественней, чем роскошней праздник, тем дольше и суровой будни.

Смолкает, но никто не решается нарушить тишины. Ну чего ты боишься, Рябов? Поля тебя тоже любит. Да и Осин... с уважением к тебе относится.

— Я предлагаю выпить за моего брата.— Так ты и знал! — За моего младшего брата, который всегда был старшим. Вы понимаете, старшим! Всегда и везде. Всегда и везде — старшим братом.— Братец замурируется.— Всегда и везде,— шепчет он и наконец открывает глаза.— Я пью за тебя, Станислав!

Полновесно ощущаешь свое горячее лицо. Нос, щеки. Торчащие красные уши.

«Неужели тебе не страшно?»

Надо ответить что-то...

«Никакой надежды? Но я же видела его... Совсем недавно». Что ей до Шатуна? Какое отношение имеет спившийся бедолага к ее кондитерской фабрике, к ее дому, к ее принципам, которые она свято блюдет? Никакого. Но почему тогда беспокойство в выцветших глазах, и

страх, и стыд — ну конечно, стыд, коли она торопливо отводит взгляд, она, которая всегда всем смотрела в глаза прямо? Почему? Ведь вам обоим чужда сентиментальность, вы сильнее, вы пришли в этот мир работать, а не вздыхать, вы — каменщики, но, боже мой, до чего же малы ее руки и как опасно, как нездорово проступили на них синие жилы!

Брось, Рябов: до матери ты не дотягиваешь.

Снова музыка, снова танцуют, а ты снова возле трюмо — интересно, когда это успел ты ретироваться? Во время тоста ты высился как истукан посреди комнаты. Нет, там стояла тетка Тамара. Ее губы вольтеровски улыбались. А где ты был? Или ты не двигался с места?

Удивительно: твой стакан пуст.

Бородой щекочет тебя братец. Бородатое запрокинутое лицо — пьет. Широкие звериные ноздри. Узкий лоб питекантропа. Того самого, которого мы все разновидность. Запах водки и табака.

— Не сердись, старик. Я многое наплел тебе, я знаю, — забудь! Все это больше ко мне отнесится. Мы ведь с тобой страшно похожи, дед. Я только сейчас допер.

— Близнецы.

— Что? — Влага в глазах. — Не близнецы, нет. Просто две половинки чего-то целого.

Яблока. Не чего-то, а яблока. Того самого, что всю жизнь рисовал господин Сезанн. Но хорошо хоть половинки, а не четвертинки, иначе бы худо пришлось вам в грациозных пальчиках радеющей о ближнем супруги.

— Мне очень хреново, старик. Тридцать лет... А я ни черта не умею. Ни черта! — Зажмуривается. — Только ты и есть у меня. Ты да отец.

Ты да отец... Да старая няня. Да Вера. Да тетка Тамара. Да еж Егор Иванович. Да Осин, который относится к тебе с уважением. Да мать — и мать тоже, хотя он и не подозревает об этом. А у тебя?

— Передавай привет Егору Ивановичу.

Недоуменная складка между бровями.

— Кому?

— Егору Ивановичу. Ежу. Если надоест, — предлагаешь ты, — можешь подарить его мне.

Братец тревожно всматривается в тебя.

— Зачем он тебе?

Кто? Ах, Егор Иванович.

— Зажарим, — говоришь ты. — Из ежатины превосходный фискеболлар.

В руке у тебя пустой стакан.

17

Не возражаешь: судак был отменен. Как, впрочем, и вечер в целом.

— Вот только Андрей чертовски опьянел. — Меня как отца не может не огорчить данное обстоятельство.

— Чертовски? — со смешливым удивлением переспрашивает супруга. Судак тоже произвел на нее впечатление — не меньшее, чем карикатурист Волон, а вот факт опьянения остался не замеченным ею.

— Пьяный он несет бог знает что...

Уж я, отец, знаю своего первенца. Так что, Станислав, не принимай близко к сердцу его галиматью.

Не принимаю, папа. Мы мирно попрощались с ним, а наше сердечное рукопожатие было символом вечной дружбы. «Спасибо, ста-

рик». «За что?» Напротив, признателен был ты ему: только одиннадцать, а он даже не сделал попытки задержать вас.

Некрашенный деревянный забор — подземный переход строят. Шагаем со временем в ногу! Еще два дня назад здесь холмиками лежал снег, а сейчас вытаял, оставив освещенные прожектором спекшиеся слитки грязи.

«Спасибо, старик». Я обидел тебя, но ты оказался выше этого — спасибо!

Не за что, братец. Просто я смотрю на все свысока — один из пунктов твоего же обвинительного заключения.

Голубовато светятся окна — век телевидения. То там, то здесь вылетает из распахнутых форточек — весна! — скороговорка хоккейного репортера.

Ветер с моря; незнакомые очертания южных деревьев. Вверху на узких асфальтированных дорожках прогуливаются люди с транзисторами. Твои руки в карманах незастегнутого пальто. «Когда долго смотришь на море, оно будто подымается. А сама вниз падаешь». На светлеющей шее — косынка в крупный белый горошек.

Ну и что?

Ты благодарен сегодняшнему вечеру.

— Волов понравился тебе?

Видишь, как я откровенна с тобой? Это потому, что у нас с ним не было ничего предосудительного. Психология! — мы проходили ее в институте.

— Карикатурист Волов? Симпатыга парень. Лопухостью не страдает. — Четвертинка яблока, от которой твоя жена откусила кусочек, а остальное бережно положила в по-птичьи разинутый рот карикатуриста. — Я не шучу. Я завидую. — Ты очень благодарен сегодняшнему вечеру. — Ты когда-нибудь замечала, что море подымается, когда на него смотришь долго?

Хмурится. Молчит и хмурится. Понимаю твой намек: опять упрекаешь, что не полетела с тобой в пятницу.

Вовсе нет! Я добр сегодня как никогда. Тротуар разбит и выщерблен, и ты заботливо придерживаешь ее за локоть.

— Да, забыл вас предупредить. — И все же телевизионщики правы: Максим Рябов не гениальный актер. — Мы встретились с вами около дома. Я — от Захарова.

Осторожно: вода в выбоинах асфальта.

Как понимать это? Ни на каком дне рождения не был — задержался у Захарова, рыболовного приятеля? Оставил там снасти, поужинал, выпил. В глазах директора кондитерской фабрики это куда меньший грех, нежели самовольное посещение отверженного сына.

— Понятно! — На лету схватывает твоя жена подобные вещи. Опыт? — Так вы не заходили домой?

Мне необходимо знать все, чтобы поддержать интригу.

— Некогда. Поздно вернулись и сразу к Захарову. С подледным баста в этом году. Решили отметить это событие. Вот только освободился. С вами у дома встретился.

— Все ясно! — грудным, нежным, с легким придыханием голосом. Не знаю, как Станислав, а я одобряю вашу маленькую хитрость. Вы поступили гуманно и изобретательно, Максим Алексеевич.

— К тому же, — добавляешь ты, — у Захарова отличная бритва.

На секунду зажмуриваешься в темноте... Ну что ты, Рябов! Ничего ведь не случилось — просто рухнула концепция, возведенная на гладковыбритых щеках. Тем лучше! Ты еще раз убедился, до каких чудовищных размеров разбухают пустяки, если смотреть на них не с высоты, а близко.

— Не понимаю! — Озадачен Максим Рябов.

— Выбрился чисто.

Подозрительно ощупывает пальцами лицо. Не беспокойся, папа, все на месте.

«Ты не веришь мне, Вера. Ты думаешь, у меня все пройдет. Почему у меня все так сложно? Почему?»

А у тебя все так просто — настолько, что тебе совестно признаться в этом. Ты элементарен, как амeba.

— ГОЛ! НА ЧЕТВЕРТОЙ МИНУТЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА...

В дребезжанье трамвая тонет голос комментатора. Разочарованный диктор снова прибавляет шаг.

«Выберите команду и начинайте болеть. Немедленно! Потом скажете — может, совпадет. Преступление пренебрегать хоть чем-то, что разнообразит жизнь».

Амеба! Совершенствуйся же скорей, эволюционируй. Команду выбери! Как стремительно взлетит в глазах братца твой эмоциональный престиж!

«Ты дальтоник, и не только в зрении».

Ужасное обвинение! Чтобы смыть его, готов исполнять все их обряды — вздыхать, страдать, жалеть, негодовать, размахивая руками, преклоняться перед Тулуз-Лотреком. Камни коллекционировать. Восхищаться природой. Что еще?

— Ты согласен со мной?

Смотришь на диктора. Багрово его лицо — от падающего из окна абажурного света. Багрово и вдохновенно.

— Да, конечно.

С чем, интересно, согласен ты?

Гул самолета.

Ты смешон, Рябов. Готов переться в глушь, в неведомую дыру за восемьдесят километров, лишь бы доказать себе, пыжась, что и твое сердце склонно к экстазам. Гримасничаешь.

«Ты не знаешь, что такое ждать женщину. Заранее рисовать себе, как она откроет дверь. Как посмотрит на тебя. Что скажет. Интонацию угадывать».

Штакаян права: тебе всегда были смешны скряги — так не жадничай и ты. Оставь братцу его радости — тебе и своих достанет. На таких, как ты, держится мир — без вас человечество превратится в стадо.

Ты высокопарен, кандидат, но да прости себе это: нынче знаменательный день. Отныне ты пойдешь вперед налегке, а стало быть, еще быстрее.

Что-то супруга говорит — будь же учтив, Рябов.

— ...своего знакомого? Минаев, кажется. Который с кооперативом может помочь.

На славу удалось торжество у братца, раз твоя жена только сейчас вспомнила о кооперативе. Весь мир заслонил образ карикатуриста Волова с четвертинкой яблока в руке.

— Мы обедали вместе.

«У тебя дело ко мне?» «Никакого. Тесть работает краснодеревщиком, а теща...» Забыл — что-то связанное с космосом.

— Ели жульен из дичи. Довольно вкусно.

«Ты, конечно, чистюля, но если тебя припрет — не остановишься ни перед чем».

— И это все?

Плохо, конечно, но я не упрекну тебя ни словом.

— Все.

У тебя великолепная жена, капиташ!

«Здравствуй! Я обещала написать, если не смогу приехать в Жаброво. Увы, так оно и вышло...»

Сдается тебе, будет честнее, если оставишь девочку в покое. Для тебя это блажь, острая приправа, она же... «Я лежала под сосной, надо мной раскачивалась в небе вершина, и я вдруг поняла, что буду счастлива. Очень-очень». Так-то, Рябов. Ты не смеешь мешать ей.

На свою улицу сворачиваете. Молчаливая парочка в тени.

«Я не смогу приехать — ни сейчас, ни потом. Не сердись. Я торжественно обещаю, что отыщу какую-нибудь захудалую сосну, растянусь под ней и буду внимательно смотреть, как раскачивается вершина. Тет-ка Тамара велела кланяться тебе».

Без обратного адреса.

— Запах! Вы слышите, какой запах! — Задрал голову, диктор де-густирует атмосферу. — Почками пахнет, чувствуете?

Гмыкаешь.

— А у сосны бывают почки?

Не юродствуй! Вспомни, как возвращался позавчера вечером со своей крымской экскурсии. Не на этом ли месте в городе, где всюду асфальт, умудрился учуять запах оттаявшей земли? И сорока восьми часов не минуло...

Не желают отвечать, есть ли почки у сосны. Варвар, скоморох, как смеешь ты нести всякую околесицу, когда такой воздух!

— Сосна, между прочим, не радуется так. — Стало быть, твой вопрос не игнорирован. Спасибо, папа! — И ель тоже. Вообще вечнозеленые. Потому что они вечно зеленые. — В два слова. Нет, выходит, почек у сосны. — Так и жизнь. Не вообще, а человеческая...

Ого! На философию провоцирует весна. На сравнение деревьев с жизнью — не вообще, а человеческой, — которая, оказывается, потому только и радуется, что конечна.

— Бессмертие, считаю я, было б ужасно.

Не беспокойся, папа, тебе это не грозит. Телевизионщики позаботились...

Свет в окне — в правом нижнем углу, пятном. Настольная лампа.

«Салют, мама!»

Сжатые губы. Родинка на подбородке. Пытливо вглядывается в тебя: это правда, что вы только сейчас встретились с отцом?

Конечно, мама! Разве твой младший способен лгать?

Однако только ли это означает пытливость маминого взгляда? Только ли это хочется ей узнать? Что же еще?

Как там он? Здоров ли? Пьет? Конечно, пьет, но как? Не заметно ли желтизны в глазах?

«Шатун понятия не имел, где печень, а потом вдруг пожелтели белки. Правда, чего только не лакал он последнее время! Даже лосьоны. А есть не ел».

Как аппетит? По-прежнему один или с кем-то?.. Язык не повернется у мамы спросить прямо, но глаза, глаза — им не прикажешь. Ах, мама! О младшем сыне они никогда не вопрошают так, но ведь это естественно. Ты всегда здоров, всегда сыт. Ничего не желтеет у тебя. Да и у кого вопрошать — ты под боком. С тобою все ясно, а вот старший... Непутевый, блудный старший сын. Хорошо быть блудному!

«Продавщица перепутала. Я просила сорок первый, а она... Там та-кой галдеж стоял».

Ревнуешь? Ну что ты, мама! Не сердце ведь, а камень в груди твоего младшего сына — разве способен он ревновать, плакать, радоваться весне и поэтически сравнивать вечнозеленую сосну пусть не с зеленой, но вечной жизнью? Не человеческой — вообще. Так пинайте же его, отворачивайтесь от него, выхватывайте из рук рюмку с вином — он

выдержит. Он железный. Вернее, каменный. А еще вернее — из железобетона, этакая современная конструкция двутаврового сечения.

Все хорошо, мама. Он твой первенец, и как можно вырвать его из сердца? Как можно! Это природа. Не слабость, мама, а природа, физиология, поэтому к чему изводить себя? Ты обязана беречь себя. Слышишь, мама, обязана! Сейчас весна, пора кризов, страшное время для гипертоников.

Неподвижное маленькое лицо с синими губами. Это, конечно, иллюзия, лицо не могло стать меньше, но почему-то именно это (такое маленькое!) пугает тебя больше всего. Пугает наперекор твоей воле, и это, пожалуй, единственный случай, когда твоя воля пробуксовывает. Ты презираешь себя за слабость и страх, для которого, твердишь ты себе, нет оснований. Конечно, нет! С минуты на минуту придет вызванная отцом «скорая», сделают укол, и ей сразу же станет легче. Только не паниковать! Только не бояться, ибо страхом можно накликать беду. Прочь гонишь ты нелепые мысли вроде той, что лицо ее стало меньше. Белые полоски под полуприкрытыми веками — ну и что, некоторые даже спят так. Дыхания нет, но это тоже иллюзия, обман зрения — ведь жилка на шее пульсирует. Слабо, но пульсирует. Ты не отрываешь от нее взгляда.

Люби кого угодно, мама. Не замечай меня вовсе. Даже не ставь кефир в холодильник, когда я задерживаюсь, — вундеркинд и теплый попьет. А лучше вообще не выставляй, ибо и ледяной он попьет тоже. Но, пожалуйста, живи... Я перегрызу горло своему братцу, если этот пузатый гений с утонченной душой посмеет хоть раз еще играть у тебя на нервах.

Почтовый ящик на углу вашего дома. Тускло отсвечивает округлое ребро. Ты сегодня же напишешь в Жаброво.

